

А. Ф.
ПИСЕМСКИЙ

Избранное



Алексей Феофилактович Писемский

Виновата ли она?

«Мне было двадцать два года. Я перешел на четвертый курс математического отделения. Освоившись с факультетом, мне очень легко стало заниматься, свободного времени начало у меня оставаться очень довольно, но куда его девать и чем наполнить даже в многолюдной Москве небогатому и одинокому студенту?...»

Содержание

I.....	0005
II.....	0018
III.....	0033
IV.....	0045
V.....	0061
VI.....	0073
VII.....	0084
VIII.....	0103
IX.....	0119
X.....	0130
XI.....	0145
XII.....	0153
XIII.....	0165
Примечания.....	0173

**Алексей Феофилактович
Писемский
Виновата ли она?
*Записки***

Мне было двадцать два года. Я перешел на четвертый курс математического отделения[1]. Освоившись с факультетом, мне очень легко стало заниматься, свободного времени начало у меня оставаться очень довольно, но куда его девать и чем наполнить даже в многолюдной Москве небогатому и одинокому студенту? Я жил один, знакомых не имел никого, и единственным моим развлечением было часа по два, по три ходить по Тверскому бульвару и бог знает чего не передумать. Однажды я встретил молодого человека, который прямо обратился ко мне с вопросом:

– Не знаете ли кого-нибудь из ваших товарищей, кто бы приготовил меня в университет?

Я посмотрел на него пристально; на вид ему было лет осьмнадцать, одет он был небрежно, в приемах его видна была беспечность. Лицо выразительно и с глубоким оттенком меланхолии.

– Если вам угодно, я могу это взять на себя, – отвечал я.

– Пожалуйста, мне надобно приготовить из математики. Вы какого факультета?

– Математик.

– Это хорошо, а вы почем возьмете за урок? Этот прямой вопрос меня сконфузил.

– Обыкновенную цену – рубль серебром, – отвечал я.

Молодой человек подумал.

– Хорошо, это я могу дать. Ваша фамилия? – проговорил он.

Я сказал, он мне назвал свою, дал адрес квартиры и просил прийти на другой день в семь часов вечера.

– Вы живете одни или с семейством? – спросил я.

– С матерью, есть и сестры, – отвечал он.

Мы расстались.

Я возвратился домой очень довольный этой встречей, мне давно хотелось иметь урок – не для денег, которых хотя было у меня и немного, но доставало на мои умеренные желания, но мне желалось учить, хотелось иметь право передавать другому свои знания, убеждения, а того и другого было в моей голове довольно в запасе.

На другой день я отравился еще за полчаса до назначенного срока. Дом, который отыскал по адресу, был барской; стоял он на дворе, по бокам тянулись огромные каменные прислуги, кругом почти целый квартал обхватывала железная решетка. Я долго путался в огромных сенях, наконец вошел в бельэтаже в главные двери. Лакей в ливрее на вопрос мой: «Здесь ли живет Леонид Николаич Ваньковский?» – отвечал довольно грубо: «Ступайте на самый верх, направо». Наверху в передней я никого не нашел, в зале тоже; из соседней комнаты слышался разговор, я начал кашлять, выглянула молодая девушка. Я поклонился ей.

– Вам, верно, брата Леонида нужно? – проговорила она и ушла назад.

Через несколько минут вышел мой ученик.

– Bon soir[2], пойдете в кабинет, – проговорил он, подавая мне руку.

Мы вошли в довольно большую комнату, которая, видно, действительно была некогда богатым кабинетом, но в настоящее время представляла страшный беспорядок: стены под мрамор в некоторых местах были безбож-

но исколочены гвоздями, в углу стоял красивый, но с изломанною переднею решеткою камин, на картине масляной работы висела шинель. Хозяин спал на кушетке, на которой еще лежали неубранные простыня и подушки. Мягкая мебель, обитая бархатом, была переломана и изорвана. На огромном красного дерева столе лежали кипами бумаги, книги и ноты. Мы сели около этого стола.

– С чего же мы начнем? – заговорил я серьезным тоном наставника.

– С чего хотите, – отвечал ученик небрежно.

– Я желал бы, – продолжал я в том же тоне, – прежде испытать, в какой мере вы знакомы с математикою, и просил бы позволить мне проэкзаменовать вас.

– Хорошо.

– Первую часть арифметики, вероятно, вы знаете?

– Знаю.

– А вторую?

– Кажется, знаю; впрочем, может быть, и забыл.

Я взял лист бумаги и хотел написать зада-

чу, но оказалось, что из дюжины торчавших в чернильнице перьев ни одно не писало, да и чернил почти не было.

– У вас перья не совсем в порядке, – заметил я.

– Да; я сам не умею чинить; вот вам карандаш, – отвечал ученик, поднимая с полу карандаш и подавая мне его.

Для первого испытания я задал ему сложение десятичных дробей; он взял и положил с какою-то насмешливою улыбкою лист перед собою, подумал немного, провел несколько линий карандашом по бумаге и, отодвинув ее от себя, проговорил:

– Нет, не знаю, позабыл.

Я задал ему сложение простых дробей, но он и в тех спутался; потом об алгебре прикинулся, что совсем ее не знает, а геометрии немного. Я принялся экзаменовать его в геометрии, на поверку вышло, что и в геометрии нуль. Я нахмурился.

– Вы очень слабы в математике; с вами надобно проходить с начала, – сказал я.

– Лучше с начала, а то я все перезабыл.

– Стало быть, мы начнем со второй части

арифметики, – решил я.

Ваньковский в знак согласия кивнул головой. Я был убежден, что с ним следовало бы начать с первой части арифметики, но высказать ему это мне на первый раз было совестно.

В продолжение часа я толковал с увлечением, и в то время, как окончательно хотел объяснить прием деления дробей, ученик мой во все горло зевнул и спросил меня:

– Вы курите?

Мне сделалось стыдно за себя и досадно на него.

– Курю, – отвечал я.

– Хотите трубку или сигару?

– Позвольте трубку.

Леонид встал, наложил мне сам трубку, а себе закурил сигару, и когда я хотел снова обратиться к толкованию, он сказал:

– Будет, больше часа прошло, не хочется что-то сегодня.

Я пожал плечами.

– Вам надобно очень много заниматься, чтобы выдержать экзамен, – произнес я с удариением.

– Займусь, – я хочу на юридический.

– Все равно; надобно выдержать экзамен из всех предметов, – отвечал я.

– Что тебе, Лида? – спросил Леонид, обращаясь к дверям.

– Вы здесь будете пить чай или туда придете? – раздался женский голос.

Я обернулся; это была прежняя девушка.

– Туда придем, – отвечал Леонид.

Девушка скрылась. Я взялся за фуражку.

– Куда же вы? Посидите, пойдемте, я познакомлю вас с нашими.

Я положил фуражку; он провел меня в гостиную. В больших креслах сидела высокая худощавая дама лет сорока пяти, рядом с нею помещался, должно быть, какой-нибудь помещик, маленький, толстенький, совсем белокурый, с жиденскими, сильно нафабранными усами, закрученными вверх, с лицом одутловатым и подозрительно красным. Лидия разливала чай, около нее сидели чопорно на высоких детских креслах две маленькие девочки.

Ученик мой подвел меня к даме и отрекомендовал. «Матушка моя», – отнесся он ко

мне.

Госпожа Ваньковская кивнула мне слегка головою и, проговоря с обязательной улыбкою: «Очень приятно познакомиться», указала мне глазами на ближайший стул.

Я сел.

– Вы давно в университете? – спросила она меня.

– Четвертый год.

– Имеете батюшку, матушку?

– Имею-с мать.

– Как, я думаю, ей приятно, что вы в университете, я это сужу по себе: мне очень хочется, чтобы Леонид поступил поскорей в студенты, – проговорила г-жа Ваньковская. – Он, я думаю, ничего не знает, – прибавила она, взглянув на сына.

Леонид ничего на это не возражал, а только нахмурился и сел за чайный стол около сестры.

– Это не так трудно: если займется, так скоро приготовится, – отвечал я.

– Вы, пожалуйста, будьте с ним построже; у него прекрасные способности, только он очень ленив: это говорили все его учителя, –

сказала г-жа Ваньковская и, найдя, конечно, что достаточно обласкала меня, обратилась к помещику:

– Какие у вас прекрасные лошадки, Иван Кузьмич, я всегда ими люблюсь.

– Очень приятно слышать, – отвечал тот.

– Премиленькие, небольшие, а очень красивенькие.

– Вятки-с.

– А, так это вятки! Я и не знала.

– Вятки-с. Они у меня возят воду и воеводу. Я на них в город езжу и в дорогах верст по семидесяти делаю, не кормя.

– Как это много! Они, я думаю, очень устают?

– Нет-с, ничего. Эта порода снослива, им часа два дайте вздохнуть и опять ступай смело на семьдесят верст; только чтоб горячих не напоить.

– Зачем же вы в городе всегда шагом ездите? – сказал вдруг Леонид, взглянув насмешливо на Ивана Кузьмича.

– Здесь нельзя шибко ездить, Леонид Николаич, – возразил тот. – На мостовой снег хуже песку; здесь один Кузнецкий проехать на ры-

сях, так лошадь надорвешь.

– Другие же ездят?

– От других и мы не отстанем, давайте ваших коурых, потягаемся!

– Стану я с вами тягаться; я вас на одной версте обгону на две версты.

– Шутите, а я бы с вами поспорил.

– Что тут спорить, все знают, что у вас лошади дрянь и вы жалеете их больше себя.

– Ну уж это, Леонид Николаич, вы ошибаетесь; у меня хоть лошади не дорогие, а не дрянь, и я не жалею их и езжу, где можно.

Этот спор Леонида, кажется, был очень неприятен матери.

– Лида! Что же чаю? – отнеслась она к дочери.

– Сейчас, – отвечала Лидия и сама подала матери чашку.

Та прихлебнула, сделала гримасу и проговорила:

– Опять сладко; никак ты не можешь примениться к моему вкусу.

– Позвольте, я разбавлю.

– Оставь уж, – возразила Ваньковская; в голове ее слышалась досада.

Лидия немного сконфузилась и пошла к чайному столу.

– А Ивану Кузьмичу чаю? – сказала мать.

– Он готов, – отвечала дочь, указывая глазами на стакан чаю, стоявший на краю стола.

– Виноват-с, – перебил Иван Кузьмич, быстро вставая и беря стакан, и, как-то особенно расшаркавшись перед Лидой, пробормотал ей что-то. Она, с своей стороны, ничего не отвечала.

Мне и Леониду подал чай лакей. Леонид закурил себе сигару и подал другую мне. Я отказался.

– Что же ты, Леонид, Ивану Кузьмичу не предложишь трубку? – сказала мать.

Леонид нахмурился.

– Хотите? – спросил он Ивана Кузьмича.

– Прошу вас, – отвечал тот.

– Подай сюда трубку, – сказал Леонид человеку.

Я между тем стал внимательно смотреть на молодую девушку, которая поила маленьких сестер чаем. Чем более я в нее вглядывался, тем более она мне нравилась. Она была далеко не красавица, но в то же время в ней бы-

ло что-то необыкновенно милое и доброе, что невольно влекло к ней с первого раза. Чайный стол, наконец, был убран, разговор как-то не клеился: мать говорила вполголоса с Иваном Кузьмичом; Лидия Николаевна села за работу; мой ученик молчал и курил. Я хотел было уйти домой, но Леонид встал, раскрыл стоявшую тут рояль и, не обращая ни на кого внимания, сел и начал играть. Я невольно стал вслушиваться; в игре его, кроме мастерского приема, слышалось что-то энергичное, задушевное. Молодая девушка, умышленно или нет, не знаю, пересела рядом со мною. Леонида слушали внимательно все: Иван Кузьмич придал лицу грустное выражение, мать потупилась, даже маленькие девочки перестали между собою болтать.

– Как брат хорошо играет, – сказала мне Лидия Николаевна.

– А вы любите музыку?

– Очень.

– А сами музыкантша?

– Да... но нет, я гораздо хуже его играю.

Леонид вдруг на половине пьесы остановился, встал, сел около меня и опять нахму-

рился.

В остальную часть вечера Иван Кузьмич принимался несколько раз любезничать с Лидией Николаевною; она более отмалчивалась. Леонид беспрестанно говорил ему колкости, на которые он не только не отвечал тем же, но как будто бы даже не понимал их.

Возвратившись домой, я все думал о моих новых знакомых; более всех мне понравились Лидия Николаевна и Леонид. Старшая Ваньковская, Марья Виссарионовна, как назвал мне ее Леонид, произвела на меня какое-то неопределенное впечатление, а этот Иван Кузьмич плоховат. И что он такое тут? Родня, знакомый, жених?

С тех пор как я познакомился с Ваньковскими, жизнь моя сделалась как-то полнее. Все вечера после уроков я проводил у них. Говоря откровенно, я, сам того не замечая, влюбился в Лидию Николаевну. Каждый день я более и более с мучительным нетерпением начал ожидать шести часов, чтобы отправиться в заветный дом на Смоленском рынке, и всю дорогу меня занимала одна мысль: дома ли Лидия или куда-нибудь уехала? Увижу я ее или нет? Проходил я обыкновенно прямо к Леониду в кабинет и в продолжение часа, занимаясь с ним, все прислушивался: не долетит ли до меня звук ее голоса. Я знал ее походку, чувствовал шелест ее платья, и потом, когда мы, кончив занятия, входили в гостиную, – если не было ее там, мной овладевала невыносимая тоска: я садился, задумывался и ни слова не говорил; но она входила, и я оживал, делался вдруг весел, болтлив. Не знаю, замечал ли это кто-нибудь, но только Лида была ко мне очень ласкова: вообще молчаливая, со мной всегда заговаривала первая и всякий

раз, когда я собирался уходить домой, говорила мне вполголоса: «Куда вы? Посидите, еще рано!»

Марья Виссарионовна добрая женщина, но решительно не умеет держать себя с детьми: Леонида она любит более всех, хотя и спорит с ним постоянно, и надобно сказать, что в этих спорах он всегда правее; с маленькими девочками она ни то ни се, или почти ими не занимается, но с Лидией Николаевною обращается в высшей степени дурно. Бедная девушка поставлена в такое положение, что скорее походит на приживалку, чем на дочь. Она занимается всем хозяйством, учит и нянчит маленьких сестер и, несмотря на все это, получает от матери непрерывные замечания за всевозможные пустяки. Ко мне Марья Виссарионовна привыкла. Иван Кузьмич отрекомендовался мне, сказав, что он калужский помещик Марасеев, и просил обязать его приятным моим знакомством. Он очень недалек и, кажется, к Лидии Николаевне неравнодушен, Марью Виссарионовну уважает, а Леонида боится. Что касается до сего последнего, то он по-прежнему ничего не де-

лает, но, сблизившись с ним, я увидел в нем очень умного человека, в высшей степени честного по своим убеждениям и далеко не по летам развитого. Я день ото дня более к нему привязывался, и он, с своей стороны, высказал мне, что полюбил меня.

К Ваньковским ездила еще одна дама, некто Лизавета Николаевна Пионова, и ездила почти каждый день, рыжая, рябая, с огромным ртом, влажными серыми глазами и, по видимому, очень хитрая: к Марье Виссарионовне она обнаруживала пламенную дружбу, а от Ивана Кузьмича приходила в восторг и всегда про него говорила: «Чудный человек! Превосходный человек!». За Леонидом она, кажется, приволакивалась, а он говорил ей на каждом шагу дерзости и показывал явное пренебрежение. Раз она, не зная, о чем бы с ним заговорить, попросила его дать ей какую-нибудь книгу читать. Сначала он ей отвечал: «У меня никаких нет книг». Она не отставала. «Да какую вам надобно книгу?» – наконец, спросил он. «Какую-нибудь поинтереснее». Он пошел и принес ей календарь. Она надулась. Когда она обращалась к нему с

просьбою сыграть на фортепьяно, он сел и начинал казачка. Досаднее всего, что эта госпожа обходилась с Лидией Николаевною свысока и едва ее замечала.

Однажды я пришел на урок. Леонида дома не было: это с ним часто случалось. Я прошел в кабинет. Мимо растворенных дверей промелькнула горничная, потом другой раз, третий – и, наконец, вошла в кабинет.

– Что вы изволите сидеть одни-с, барышня дома, – сказала она.

– Где же Лидия Николаевна? – спросил я не совсем спокойным голосом.

– В гостиной, пожалуйста туда-с; я докладывала об вас.

Я прошел в гостиную. Лидия Николаевна сидела за пядьцами.

– Брат сейчас приедет, он поехал с маменькою, – сказала она.

Я сел. Говорить с Лидией Николаевною было для меня величайшим наслаждением, но мне это редко удавалось. Я решился воспользоваться настоящим случаем.

– Какую вы огромную картину вышиваете, – сказал я.

Приличнее этого мне ничего не пришло в голову.

– Эта еще не так велика... Посмотрите, какое славное лицо у старика, – отвечала Лидия Николаевна, показывая узор, на котором был изображен старик с седою бородою, с арфою в руках, возле его сидел курчавый мальчик и лежала собака; вдали был известный ландшафт с деревцами, горами и облаками.

– Надобно иметь истинно женское терпение, чтобы все это вышить, – продолжал я, рассматривая узор.

– Нет, это не терпение, а так... от нечего делать... – отвечала Лидия Николаевна. – Хорошо, если бы женщины должны были иметь терпение только вышивать подушки, которые потом запачкаются и бросятся, – прибавила она, вздохнув.

– А где же им оно еще нужно? – спросил я с ударением.

– В жизни.

– Это, я полагаю, нужно мужчинам и женщинам.

– Мужчинам? О, нет! Они гораздо свободнее; они могут быть тем, чем хотят, а мы бы-

ваем тем, чем нам велят.

«Милая девушка, как она умна», – подумал я.

– Мне кажется, – начал я вслух, – что женщины в наше время довольно свободны...

– Чем же свободны? Может ли, например, женщина выйти или не выйти замуж?

– Конечно, может.

– Нет, не может, потому что над ней сейчас станут смеяться, назовут старою девушкою, скажут, что она зла; родные будут сердиться, тяготиться: на это неостанет никакого терпения.

– Необходимость выйти замуж для каждой девушки сделается приятною: стоит только выйти за того, кого полюбишь.

– А если никого не любишь?

– Надобно дожидаться: для всякой женщины придет пора, когда она полюбит.

– Не думаю, я первая никогда и никого не полюблю.

– Это почему вы думаете?

– Так... Полюбить одного, а выдадут за другого: лучше уж никого не любить.

Интересный разговор наш был прерван на

этом месте приездом Леонида с матерью.

Мы ушли с ним в кабинет.

В этот раз я не совсем добросовестно исполнял обязанность наставника. Теорию неопределенных уравнений растолковал так неопределенно, что это даже заметил мой воспитанник, хотя и слушал меня по обыкновению очень невнимательно.

– Вы что-то сегодня совсем непонятно рассказываете, – сказал он с обыкновенною своею откровенностию.

– Мне нездоровится, – отвечал я.

– Ну так оставьте, и мне надоело. – Пойдемте в гостиную.

Я только того и ждал и дал себе слово во что бы то ни стало возобновить с Лидиею Николаевною прежний разговор, но на беду мою несносный Иван Кузьмич был уже тут и сидел рядом с нею. Марья Виссарионовна рассказывала какую-то длинную историю про одну свою родственницу, которой предстояла прекрасная партия и которую она сначала не хотела принять, но потом, желая исполнить волю родителей, вышла, и теперь счастливы так, как никто; что, наконец, дети, которые

слушаются своих родителей, бывают всегда благополучнее тех, которые делают по-своему. Говоря это, она переглядывалась с Иваном Кузьмичом, который ей поддакивал, и взглядывала на дочь; та сидела, потупившись, и ни слова не говорила. Леонид слушал мать с насмешливою улыбкою. Мне бы, вероятно, целый вечер не удалось переговорить с Лидиею Николаевною, но приехала Пионова. С нежностью поздоровалась она с Марьею Виссарионовною, издала радостное восклицание при виде Ивана Кузьмича, который у ней поцеловал руку, и тотчас же начала болтать, а потом, прищурившись, взглянула в ту сторону, где сидел Леонид, и проговорила сладким голосом:

– Вы здесь, Леонид Николаич, я вас и не вижу... Здравствуйте!

Тот не пошевелился и ни слова не сказал; меня и Лидию Николаевну она по обыкновению не заметила. Лида вышла, наконец, в залу, я тоже последовал за нею, благословляя в душе приезд Пионовой. Когда я вошел, Лидия сидела на небольшом диване, задумавшись. Увидев меня, она улыбнулась и проговорила:

– Я ушла, там очень жарко, посидимте здесь.

Я стал около нее.

– Вы будете у нас завтра? – спросила она.

– Буду.

– А послезавтра?

– Послезавтра воскресенье, урока у меня нет.

– Ничего, приходите обедать и на целый день.

Я обмер от радости.

– Завтра я не буду целый день дома, – прибавила Лидия.

– Где ж вы будете? – спросил я.

– В пансионе у madame Жарве. Там завтра акт и вечером бал.

– Стало быть, вы завтра будете веселиться?

– Какое веселье!.. Я не люблю балов, но я там училась; начальница меня очень любила; сама приезжала и просила, чтоб мамаша меня отпустила; она очень добрая!

– Я знал одну из воспитанниц madame Жарве; та не похожа на вас и, кажется, очень любит балы.

– Кто такая?

– Вера Базаева, которая мне еще как-то кузиной приходится.

– Верочку Базаеву? Она вам кузина! Эта наша пансионская красавица. Скажите, где она и что делает?

– Я думаю, танцует и кокетничает.

– Право? Она, впрочем, всегда была немного кокетка, а какая хорошенькая! Сначала я была с ней дружна, а потом расстались холодно; она тогда зиму жила здесь, очень много выезжала, и мы почти не видались.

– У меня с нею почти были такие же отношения: на первых порах мы с ней очень скоро подружились, или по крайней мере она уверяла меня, что ей очень ловко танцевать со мною вальс, а я находил, что она очень хороша собою.

– Вы не были в нее влюблены?

– Нет.

– Не может быть.

– Отчего же не может быть?

– Оттого, что она так мила, что нравится всем.

– На первый взгляд, может быть, а потом, взглядевшись, увидишь, что красоте ее много-

го недостает.

– Чего ж недостает?

– Мысли, чувства, души.

Лида не возражала.

– Вы напрасно думаете, – продолжал я, – чтоб я мог быть влюблен в Базаеву; по моим понятиям, женщина должна иметь совершенно другого рода достоинства.

– А именно?

– Вы желаете знать?

– Очень.

– Женщина должна быть не суетна, а семьянинка, кротка, но не слабохарактерна, умна без педантства, великодушна без рисовки, не сентиментальна, но способна к привязанности искренней и глубокой, – отвечал я.

В голове моей давно уже приготовлен был для Лидии Николаевны этот очерк идеала женщины.

– А наружность? – спросила она.

– Наружности я и определять не хочу. Эти нравственные качества, которые я перечислил, так одушевят даже неправильные черты лица, что она лучше покажется первой красавицы в мире.

– Таких женщин нет.

– Нет, есть.

– Вы, стало быть, встречали?

– Может быть.

– Желала бы я посмотреть на такую женщину.

Я ничего не отвечал. Дело в том, что под этим идеалом я разумел ее самое. Несколько времени мы молчали.

– Вы, Лидия Николаевна, говорили, что никогда и никого не полюбите? – начал я.

– Да.

– Стало быть, вы никогда и замуж не пойдете?

– Нет, пойду.

– По расчету?

– Да, по расчету, – отвечала она.

И мне показалось, что, говоря это, она горько улыбнулась.

– Я не ожидал от вас этого слышать.

– Отчего ж не ожидали; это очень покойно; по крайней мере, если муж разлюбит, то не так будет обидно.

– Перестаньте так говорить, я вам не верю.

– Нет, правда.

– Правда?.. – начал было я.

– Постойте, – вдруг перебила меня Лидия Николаевна, – там, кажется, говорят про меня.

– Что такое вас встревожило? – спросил я.

– Так, ничего, – отвечала Лидия Николаевна.

– Ах, какая эта Пионова несносная! – прибавила она как бы про себя.

– *Lydie, ou etes vous?*[3] – раздался голос Марьи Виссарионовны из гостиной.

– *Ici, maman*[4], – отвечала Лидия.

– *Venez chez nous.*[5]

– Посидите тут, я скоро возвращусь, – это ужасно! – проговорила она и ушла.

По крайней мере, с полчаса сидел я, напрягая слух, чтобы услышать, что говорится в гостиной; но тщетно; подойти к дверям и подслушивать мне было совестно. Наконец, слышались шаги, я думал, что это Лидия Николаевна, но вошел Леонид, нахмуренный и чем-то сильно рассерженный.

– Что вы тут сидите; пойдите в кабинет, – сказал он.

Я пошел за ним в надежде, не узнаю ли чего-нибудь.

– Пионова сегодня что-то много говорит, – начал я.

– Мерзавка!.. Черт знает, как все эти женщины нелепы.

– А что же?

Леонид ничего не отвечал; расспрашивать его, я знал, было бесполезно.

– А математика идет плохо, – начал я с другого.

– Скверно. Как мне хочется на воздух! По-едемте прокатиться; я вас довезу до дому; у меня лошадь давно заложена.

– Хорошо. Можно проститься с вашими?

– Ступайте; а я покуда оденусь.

В гостиной я застал странную сцену: у Марьи Виссарионовны были на глазах слезы; Пионова, только что переставшая говорить, обмахивала себя платком; Иван Кузьмич был краснее, чем всегда; Лидия Николаевна сидела вдали и как будто похудела в несколько минут. Я раскланялся. Леонид подвез меня к моей квартире. Во всю дорогу он ни слова не проговорил и только, когда я вышел из саней, спросил меня:

– Вы будете завтра дома?

- Буду.
- Я завтра приду к вам.
- Приходите.

На другой день, только что я встал, Леонид пришел ко мне и по обыкновению закурил трубку, разлегся на диване и молчал; он не любил скоро начинать говорить.

– Ваши здоровы? – спросил я.

Меня заботило, что такое у них вчера было.

– Не знаю хорошенько; матери не видал, а сестра больна.

– Чем?

– Голова болит.

– Вы вчера поздно воротились?

– Нет, прокатился только.

– А гости еще у вас долго сидели?

– Не знаю; я не входил туда. Кажется, что долго, – отвечал нехотя Леонид.

Он был очень не в духе.

– Скажите, пожалуйста, Леонид Николаич, – начал я после нескольких минут молчания, – что это за человек Иван Кузьмич?

– Что за человек он, я не знаю, и даже сомневаюсь, человек ли он? А что глуп, как бревно, так это верно.

- Однако он принят у вас, как свой?
 - Не отвяжешься от него, хотя я и давно об этом стараюсь.
 - Почему ж?
 - Он главный кредитор наш.
 - А разве у вас долги есть?
- Леонид усмехнулся.
- Есть немного.
 - Сколько же?
 - Тысяч триста серебром.
 - Триста тысяч!.. А состояние велико ли?
 - Около тысячи душ.
 - Состояние прекрасное.
 - Хорошо, только в итоге ставь нуль.
 - Отчего же это?
 - Дела расстроены. Отец у меня был очень умный человек, и, когда женился на матери, у него ничего не было, а у нее промотанных двести душ, но в пять лет он составил тысячу, а умер – и пошло все кривым колесом: сначала фабрика сгорела, потом взяты были подряды, не выполнили, залоги лопнули! А потом стряпчие появились и остальное доконали.
 - Каким же образом Иван Кузьмич попал в число кредиторов?

– Получил от родного брата по наследству, с которым отец имел дела.

– А велик его вексель?

– Тысяч в тридцать серебром.

– Кто ж теперь управляет всем этим: и делами и имением вашим?

– Судьба.

– А матушка ваша предпринимает же что-нибудь?

– Едва ли. Она то плачет и говорит, что несчастнейшая в мире женщина, а потом, побеседовавши с Пионовою, уверяет всех, что ничего, что все прекрасно устроилось. Я ничего не понимаю.

– Во всяком случае она, мне кажется, женщина умная.

– Умна, только прежде была очень избалована жизнью. При дедушке жила в богатом доме и знала только на балы выезжать, при отце тоже: он ей в глаза глядел и окружал ее всевозможною роскошью. Вы бывали у нас в бельэтаже?

– Нет.

– Жаль. Я вам покажу когда-нибудь. Там есть кабинет, нарочно для нее отделанный;

он один стоит десять тысяч серебром, а теперь и нет ничего, да еще хлопоты по делам, и растерялась.

– Поэтому теперь лежит обязанность на вас устроить как-нибудь дела.

– А что я такое? Мальчишка, да и по характеру один из тех пустейших людей, которые ни на что не годны. Я от лени по целым дням хожу, не умывшись и не пообедав; у меня всю мою жизнь недоставало еще терпения дочитать ни одной книги.

– Однако вы музыкант, и музыкант замечательный.

– Музыка и дела – две вещи разные; музыку я люблю, – отвечал Леонид.

Несмотря на то, что он все это говорил, по видимому, равнодушно, но видно было, что семейное расстройство его сильно беспокоило. Мне было более всего досадно, что Марасев был в числе кредиторов.

– Вероятно, Иван Кузьмич по хорошему знакомству не беспокоит вас своим векселем? – сказал я.

– Напротив, несноснее всех, – отвечал Леонид.

– Неужели же он так неделикатен?

– Не очень. Все сватается к сестре и говорит, что если она выйдет за него, так он сейчас же изорвет вексель.

Сердце у меня замерло.

– А Лидии Николаевне он нравится? – спросил я.

– Еще бы ей нравился! Она не совсем еще с ума сошла.

– А Марья Виссарионовна желает этого брака?

– Очень.

– Неужели же Марья Виссарионовна не видит в нем ни разницы лет, ни разницы воспитания с Лидией Николаевной, неужели, наконец, не понимает личных его недостатков? Я уверен, что ей самой будет неловко иметь такого зятя: у него ничего нет общего с вашим семейством.

Леонид молчал.

– И как вы думаете, брак этот состоится? – прибавил я, желая вызвать его на разговор.

– Я думаю. Матушка желает и говорит, что от этого зависит участь всей семьи.

– Какая же участь? Тридцать тысяч не все

ваше состояние.

– Кажется, а Лида верит.

– Но как же это?

– А так же – верит. Вы не знаете этой девушки: она олицетворенная доброта. Матушке стоит только выразить малейшую ласку, и она не знаю на что не решится. Досаднее всего, что я ее ужасно люблю, не оттого, что она мне сестра; это бог бы с ней, а именно потому, что она чудная девушка.

– Мне самому Лидия Николаевна чрезвычайно нравятся, даже в наружности их есть что-то особенно привлекательное.

– Нет, наружность что? Она собою не хороша, но у ней чудный характер, кроткий, ровный.

Эти слова Леонид говорил с большим против обыкновенного своего тона одушевлением.

– Я без ужаса вообразить не могу, – продолжал он, вставая и ходя взад и вперед по комнате, – что такая славная женщина достанется в жены какому-нибудь Марасееву.

– Тем более, Леонид Николаич, вы должны этому противодействовать всеми средствами.

– Ничего не сделаешь. Неужели вы думаете, что я не действовал? Я несколько раз зате-вал с ним историю и почти в глаза называл дураком, чтобы только рассердить его и за-ставить перестать к нам ездить; говорил, на-конец, матери и самой Лиде – и все ничего.

– Но они возражали же что-нибудь вам?

– Ничего не возражали; мать сердится и го-ворит, что я еще мальчишка и ничего не по-нимаю, а Лида плачет.

– Во всяком случае, это слабость характера со стороны Лидии Николаевны.

– Вовсе не слабость, когда она два года бо-рется и в продолжение этих двух лет ей гово-рят беспрестанно одно и то же, беспрестанно толкуют, что этот человек влюблен в нее, что лучшего жениха ей ожидать нельзя, потому что не хороша собою, что она неблагодарная, капризная и что хочет собою только отяго-щать мать. Я бы на ее месте давно убежал из дома и нанялся бы где-нибудь в ключницы, чем стал бы жить в таком положении.

– А Иван Кузьмич богат?

– В том все и дело, что хочет уничтожить наш вексель, а кроме того, Пионова уверяет,

что у него триста душ и что за невестою он ничего не просит и даже приданое хочет сделать на свой счет и, наконец, по всем делам матери берется хлопотать. Я вам говорю, что тут такие подлые основания, по которым выдают эту несчастную девушку, что вообразить трудно.

– Я, право, все еще не верю, чтобы Марья Виссарионовна могла иметь такие побуждения в таком важном деле, как брак дочери.

– У ней никаких нет побуждений, потому что нет никаких убеждений. В этом случае ее решительно поддувает Пионова; не будь этой советчицы, мать бы задумала... опять передумала... потом, может быть, опять бы задумала, и так бы время шло, покуда не нашелся бы другой жених, за которого Лида сама бы пожелала выйти.

– Неужели же влияние этой пустой женщины так сильно, что вы не можете ее отстранить, и, наконец, на чем основано это влияние?

– На том, что она унижается пред матерью, восхищается ее умом, уверяет ее, что она до сих пор еще красавица; клянется ей в беспре-

дельной дружбе, вот и основания все, а та очень самолюбива. Прежде, когда она была богата и молода, ей льстили многие, а теперь все оставили; Пионова же держит себя по-прежнему и, значит, неизменный друг.

– Но та какую цель имеет?

– Может быть, деньги взяла за сватанье, и вероятно, да и Лиду ей уничтожить хочется: она ее ненавидит.

– За что же?

– За то, за что мерзавцы вообще ненавидят хороших людей, которые для них живое обличение.

– Мне кажется, что Пионова равнодушна к вам.

– Как же! Влюблена в меня; сама признавалась мне, что она дорожит нашим семейством только для меня.

– Вот бы вы это и сказали матушке.

– Говорил.

– Что ж она?

– Смеется.

Таким образом, Леонид раскрыл предомною всю семейную драму. Мы долго еще с ним толковали, придумывали различные

способы, как бы поправить дело, и ничего не придумали. Он ушел. Я остался в грустном раздумье. Начинаясь в сердце моем любовь к Лидии Николаевне была сильно поражена мыслию, что она должна выйти замуж, и выйти скоро. Мне сделалось грустно и досадно на Лиду.

В первые минуты я написал к ней письмо, которое вышло у меня такого содержания:

«Я, может быть, слишком много беру себе права, что осмеливаюсь писать к вам, но разубеждение, которое мне суждено в вас испытать, так болезненно отозвалось в моем сердце, что я не в состоянии совладеть с собою. Я некогда, если вы только это помните, говорил вам об идеале женщины, и нужно ли говорить, что все его прекрасные качества я видел в вас, но – боже мой! – как много вы спустились с высоты того пьедестала, на котором я, ослепленный безумец, до сих пор держал вас в своем воображении. Вы выходите замуж, я это знаю, и знаю также, что ваш ум и ваше сердце и свободу вы приносите двум-тремстам душам мужнина состояния. Не говорите тут о необходимости, о самоотвержении.

Подобное пренебрежение, чтоб не сказать неряшество, в собственном счастье, я убежден, выше сил женщины и служит признаком, знаете ли чего? Страшно сказать – бездушия, бесстрастности, что признать в вас мне все-таки не хочется, и я все-таки еще желаю оставить вам настолько нравственных качеств, что наперед вам предсказываю много горя и страданий, если вы только сделаете этот неосторожный шаг».

Написав все это, я предполагал в тот же день снести Лиде сам мое письмо, но, вспомнив, что говорил Леонид, мне стало жаль ее.

«Нет, она не так виновна, – подумал я, – бог с ней: пускай она выходит замуж, я останусь ей предан и по возможности дружен и близок с нею».

Решившись таким образом из пламенного обожателя преобразовать себя в смиренного и нетребовательного друга, я задал себе вопрос: что за человек Марасеев? Может быть, Леонид сильно против него предубежден; может быть, он только не очень умен, но добрый в душе человек; может быть, он точно любит Лидию Николаевну, доказательство

этому отчасти есть: он жертвует для нее тысячами. Из него, может быть, выйдет хороший семьянин, и он в состоянии будет если не сделать Лидию Николаевну вполне счастливою, то по крайней мере станет покоить ее.

Мое намерение было: на другой же день съездить к Марасееву и посмотреть на него в домашней жизни; это было мне и кстати сделать, потому что он был у меня недели две тому назад, а я ему еще не заплатил визита.

IV

Иван Кузьмич жил в Грузинах. Я ехал к нему часа два с половиною, потому что должен был проехать около пяти верст большими улицами и изъездить по крайней мере десяток маленьких переулков, прежде чем нашел его квартиру: это был полуразвалившийся дом, ход со двора; я завяз почти в грязи, покуда шел по этому двору, на котором, впрочем, стояли новые конюшни и сарай. Я сейчас догадался, что Иван Кузьмич выбирал квартиру с большими удобствами для лошадей, чем для себя. В маленькой темной передней встретил меня лакей и, проворно захлопнув дверь в залу, стал передо мною, как бы желая загородить мне дорогу.

– Дома Иван Кузьмич? – спросил я.

Лакей замялся.

– Я не знаю-с: они дома, да не почивают ли? Позвольте я доложу-с, – отвечал он и ушел в залу, опять притворив дверь. Через несколько минут он возвратился, неся в руках поднос с пустым графином и объедками пирога. Поставив все это, бегом побежал в се-

ни и возвратился оттуда с умывальником и полотенцем и прошел в залу. Положение мое становилось несносно; я стоял, не снимая ни шинели, ни калош, в полутемноте и посреди удушливого запаха, который происходил от висевших тут хомутов, смазанных недавно ворванью. Лакей еще несколько раз прибежал за сапогами, сюртуком, головною щеткою, которые хранились тут же в передней, и, наконец, разрешил мне вход. Иван Кузьмич встретил меня с распростертыми объятиями, обнял и крепко поцеловал. Не ожидая такой нежности, я попятился и с удивлением взглянул ему в лицо: оно не только было красно, но пылало, и глаза были уже совсем бессмысленные. Вместе с ним вышел толстейший и высочайший мужчина, каких когда-либо я видал, с усищами до ушей, с хохлом, с огромным животом, так что довольно толстый Иван Кузьмич и я, не совсем маленький, казались против него ребятами, одним словом, на первый взгляд страшно было смотреть. Он мне расшаркался, и при этом закачался весь пол. Иван Кузьмич поздоровался со мною и облокотился на печку.

– Очень рад, – начал он, едва переминая язык, – прошу познакомиться, – прибавил он, указывая на огромного господина: – мой приятель, Сергей Николаич, а они учитель Марьи Виссарионовны, очень рад... извините, пожалуйста, я не ожидал вас: недавно проснулся, будьте великодушны, извините... Сделайте милость, господа, пожалуйста в гостиную. Сергей Николаич! Что ж ты церемонишься? Мы с тобою не сегодня знакомы; ты свинтус после этого... Сделайте милость, простите великодушно; мы с ним по-приятельски, – болтал хозяин и, наконец, пошел в гостиную, шатаясь из стороны в сторону. Не оставалось никакого сомнения, что он был мертвецки пьян. Мы пошли за ним, громадный господин был тоже сильно выпивши, только ему было это ничего: у него все выходило испариною, которая крупными каплями выступила на лбу и которую он беспрестанно обтирал, но она снова появлялась.

В так названной гостиной, в которой был какой-то деревянный диван и несколько стульев, сидел молодой офицер и курил трубку. Он мне особенно бросился в глаза тем, что

имел чрезвычайно худощавое лицо, покрытое сплошь желчными пятнами.

Иван Кузьмич опять принялся за рекомендацию.

– Позвольте вас познакомить: поручик Данович – учитель Марьи Виссарионовны; прошу полюбить друг друга.

Зачем он нас просил, чтобы мы полюбили друг друга, неизвестно.

Я потупился, поручик усмехнулся, однако мы раскланялись.

– Очень, право, рад, ко мне вот сегодня приехал Сергей Николаич, потом господин Данович пришел... потом вы пожаловали: благодарю... только извините, пожалуйста; я такой человек, что всем рад, извините... – проговорил Иван Кузьмич и потупил голову. Поручик качал головою; толстый господин не спускал с меня глаз. Мне сделалось неприятно и неловко.

– Вы кого у Марьи Виссарионовны учите? Леонида или маленьких девочек? – спросил он меня необыкновенно густым басом.

– Леонида, – отвечал я.

Сергей Николаич откашлялся.

– Славный малый Леонид, – продолжал он, – только ко мне не ездит, да и сам я давно не бывал у них: с год!.. Все нездоровится.

«Ему нездоровится», – подумал я и внутренне рассмеялся; скорее в молодом слоне можно было предположить какую-нибудь болезнь, чем в нем.

– Жена моя часто у них бывает; видали там мою жену? – отнесся опять ко мне Сергей Николаич.

– Вашу супругу? – спросил я, не отгадывая еще, кто этот господин.

– Да, Пионову; я имею честь быть господином Пионовым, а госпожа Пионова – моя нежнейшая супруга, верная жена и подруга дней моих печальных.

– Видал-с, – отвечал я.

Так вот кто был супруг Пионовой; недаром она не возит его к Ваньковским и говорит, что он домосед.

– Хорошо, что я вспомнил об жене, – продолжал Пионов, обращаясь к хозяину. – Она меня поедом ест за твоего бурку; говорит: зачем купил, не нравится. Да полно, что ты нахмурился?

– Бурку?.. – отозвался Иван Кузьмич. – Бурка, брат, славная лошадь; если бы мне такая попалась, я сейчас дам тысячу целковых.

– Возьми назад, я за полтысячи уступлю.

– Давай, возьму!.. Что ж, разве не возьму?

– Бери, мне самому жаль. Как бы не барыня, я бы с ней не расстался.

Поручик взглянул на меня и усмехнулся.

– Барыня... барыня, – говорил Иван Кузьмич, – твоя барыня, брат, милая; я у ней ручку поцелую, а ты в лошадях ничего не смыслишь; ты что говорил про белогривого жеребца?

– Что говорил?

– Что говорил! Не помнишь? Ты говорил, выкормок, вот он тебе и показал себя! Зачем же ты его на завод ладил? Выкормки, брат, на завод нейдут; что ты мне говоришь!

Пионов ничего не возражал. Я встал с тем, чтобы уехать.

– Прощайте, Иван Кузьмич, – сказал я, раскланиваясь.

– Сделайте милость, прошу вас покорнейше, посидите, – возразил он, разведя руками, – извините меня великодушно, вам, может

быть, скучно у меня, а я душевно рад. Позвольте мне хоть трубку вам предложить; будьте так добры, выкурите хоть трубку.

– Позвольте, – отвечал я и сел.

– Фомка! – крикнул Иван Кузьмич. – Трубку подай!

– Очень рад, что вы пожаловали, только извините меня; я сегодня нездоров что-то: насморк, что ли?

Между тем Пионов встал, как-то особенно кашлянул и вышел в другую комнату, впрочем, он не совсем ушел, как видел я в зеркале, а остановился в дверях и начал делать Ивану Кузьмичу знаки и манить его рукою, но тот не замечал.

– Вас зовут, Иван Кузьмич, – сказал поручик.

Иван Кузьмич поднял голову и, заметив приятеля, встал и едва попал в дверь; тот начал ему шептать что-то на ухо, а он только мотал головою, и, наконец, оба ушли.

– Как наклюкались, – проговорил им вслед поручик, обращаясь ко мне.

– Что такое у них сегодня? – спросил я.

– Не знаю-с, я пришел, они уж были гото-

вы; у них, впрочем, часто это бывает. Вы давно знакомы с Иваном Кузьмичом?

– Нет, я у него сегодня только в первый раз; скажите, пожалуйста, хороший он человек?

– Человек он добрый, только слаб ужасно. В одном полку со мной служил; полковник прямо ему предложил, чтобы он по своей слабости оставил службу. Товарищи стали обижаться, ремарку делает на весь полк.

Холодный пот выступил у меня, слушая поручика; хотя по желчному лицу его и можно было подозревать, что он о себе подобных не любит отзываться с хорошей стороны, но в этом случае говорил, видимо, правду.

– Что же он здесь делает в Москве? – спросил я.

– Да ничего не делает, кутит. Говорят: жениться хочет. Не знаю, какая идет за него девушка, а большой риск с ее стороны.

– Если он добрый человек и будет любить жену, то, может быть, и перестанет кутить, – заметил я.

– Вряд ли-с! Привычку сделал большую, – возразил поручик.

– Но еще скажите мне, сделайте милость,

богат он или нет?

– Состояние есть; ему после брата много досталось, безалаберно только живет очень. Один этот толстый Пионов его лошадьми да картами в год тысячи на две серебром надует.

– А они приятели?

– Как же-с, друзья по графину.

Вот почему Пионова так хлопочет за Ивана Кузьмича. Боже мой! Неужели мы с Леонидом не успеем разбить их козней? Я было хотел еще расспросить поручика, но Иван Кузьмич и Пионов возвратились. Они, вероятно, еще клюкнули. Сил моих не было оставаться долее. Я опять начал прощаться, Иван Кузьмич не отпускал.

– Обяжите меня, сделайте милость, посидите; я вас, кажется, ничем не обидел, а что если... извините меня, выкушайте по крайней мере шампанского, что же такое; я имел честь познакомиться с вами у Марьи Виссарионовны, которую люблю и уважаю. Вот Сергей Николаич знает, как я ее уважаю, а что если... так виноват. Кто богу не грешен, царю не виноват.

– Мне надобно, Иван Кузьмич, ехать на

лекции.

– Вы и поезжайте, Христос с вами, дай вам бог доброго здоровья, а шампанского выпьем: извините, это уже нельзя.

– Благодарю вас, я не пью. Позвольте мне уехать, – сказал я решительно.

Иван Кузьмич обиделся.

– Бог с вами, поезжайте, что ж! Вы человек ученый, а мы люди простые, что ж? Бог с вами, а что если... – Я не дождался конца его речи и пошел.

– Позвольте хотя проводить, что же такое?.. – говорил он и пошел за мною.

Как я ни торопился надеть шинель, он, однакож, успел меня на крыльце нагнать и, желая подать мне руку, пошатнулся и, конечно, хлопнулся бы в грязь, если бы не подхватил его под руку лакей.

Я возвратился домой, возмущенный до нельзя. Леонид прав! Говорят, он добр; но что же из этого, когда он пьяница, и пьяница безобразный и глупый. Вечером я поехал к Леониду, чтобы передать ему все, что видел, и застал его в любимом положении, то есть лежащим на кушетке.

– Я сегодня был у Ивана Кузьмича, – начал я.

– Зачем?

– Так, мне хотелось узнать его хорошенько.

– Что же вы узнали?

Я рассказал ему, чему был свидетелем и что говорил мне поручик.

Леонид слушал молча, и только выступившие на лице его красные пятна заставляли догадываться, каково ему было все это слышать. Мне сделалось даже жаль, зачем я ему рассказал.

– Во всяком случае, – заключил я, – мы все это должны передать вашей матушке и Лидии Николаевне.

– Теперь уж поздно, вчера дали слово ему, Лида согласилась.

– Леонид Николаич! – воскликнул я. – Это будет с нашей стороны жестоко и бесчестно скрыть подобные вещи.

– Лиде нечего теперь говорить, а матери, пожалуй, скажем.

– Когда же?

– Да хоть теперь пойдете.

– Мне говорить?

– Нет, я буду от себя.

В передней нам сказали, что приехала Пионова.

– Ловко ли будет? – заметил я.

– Ничего, еще лучше, – решил Леонид.

Мы вошли. Марья Виссарионовна, должно быть, о чем-нибудь совещалась с своею приятельницею. При нашем входе они обе замолчали. Пионова, увидев Леонида, закатила глаза и бросила на него такой взгляд, что мне сделалось стыдно за нее.

– Вот он сейчас был у Ивана Кузьмича, – начал тот прямо, показывая на меня.

Обе дамы переглянулись с удивлением, не понимая, к чему он это говорит.

– Ваш муж был тоже там, – прибавил он Пионовой.

– Вы видели мужа? – отнеслась она ко мне.

– Видел-с.

– Познакомились с ним?

– Познакомился.

– Очень рада. Он чрезвычайно любит молодых людей – это его страсть.

– А теперь он дома? – спросил Леонид.

– Дома.

– Я думал, что он еще у Ивана Кузьмича; они там пьют с утра; Иван Кузьмич так напился, что на ногах не стоит, – отрезал он.

Марья Виссарионовна побледнела. Пионова вспыхнула.

– Перестаньте, Леонид, врать, – начала мать строгим голосом. – Я тебе давно приказывала, чтобы ты не смел так говорить о человеке, которого я давно знаю и уважаю.

– Напился пьян... на ногах не стоит... я не понимаю даже этого и не знаю, что такое было у Ивана Кузьмича; может быть, какой-нибудь завтрак, а муж приехал вовсе не пьяный. Мне слышать подобную клевету даже смешно, – проговорила Пионова.

Я хотел было отвечать ей, но Леонид перебил меня:

– Говорят не о вашем муже, а об Иване Кузьмиче, который у нас рюмки сладкой водки не пьет, а дома тянет по целому штофу. Что вам говорил про него прежний его товарищ? – отнесся он ко мне.

– Я вам передавал, – отвечал я.

– Из прежних его товарищей никто ничего про него не скажет дурного; его все товарищи

обожали в полку; мой муж служил с ним с юнкеров, так нам лучше знать Ивана Кузьмича, чем кому-нибудь другому.

– Вы всегда его хвалите, а за что же его из службы выгнали?

– Как выгнали?

– Так, выгнали.

Пионова засмеялась принужденным смехом.

– Ах, боже мой, боже мой! Чего не выдумают! Ивана Кузьмича выгнали! Ивана Кузьмича!.. – воскликнула она таким тоном, как будто бы это было так же невозможно, как самому себе сесть на колена. – Слышите, Марья Виссарионовна, что еще сочинили? Вы хорошо знаете причину, по которой Иван Кузьмич оставил службу, и его будто бы выгнали! Ха, ха, ха...

– Сочиняете более всех вы! – возразил Леонид.

Пионова только пожала плечами.

– Леонид Николаич какое-то особенное удовольствие находит говорить мне дерзости. Не знаю, чем подала я повод, – сказала она, покачав грустно головою.

– Ты выводидишь, наконец, меня из терпения, Леонид! – проговорила грозно Марья Виссарионовна. – Царь небесный! Что я за несчастная женщина, всю жизнь должна от всех страдать, – прибавила она и начала плакать.

– Успокойтесь, Марья Виссарионовна, умоляю вас, пощадите вы себя для маленьких ваших детей. Леонид Николаич так только сказал, он не будет более вас расстраивать.

– Расстраиваете вы, а не я, – перебил тот.

– Перестань, Леонид! – воскликнула опять Марья Виссарионовна. – Душечка Лизавета Николаевна, скажите ему, чтоб он ушел; он меня в гроб положит.

– Cher Leonide, ayez pitie de votre mere[6], – произнесла Пионова своим отвратительным голосом, которому старалась придать умоляющее выражение.

Леонид встал и, хлопнув дверьми, ушел, оставив меня в самом щекотливом положении. Марья Виссарионовна продолжала плакать. Пионова ее утешала. Я так растерялся, что решительно не находился, оставаться ли мне или уйти. Вдруг дверь отворилась, явился

Иван Кузьмич, и явился как ни в чем не бывало: кроме красноты глаз и небольшой опухлости в лице, и следа не оставалось утренней попойки. Пионова сначала сконфузилась, но, увидев, что Марасеев в обыкновенном состоянии, насмешливо взглянула на меня. Марья Виссарионовна отерла слезы и ласково поклонилась гостю. Иван Кузьмич, раскланявшись с дамами, подал мне дружески руку. Не помню, как я просидел еще несколько времени, как поклонился всем и пошел к Леониду, которого застал сидящим за столом. Он схватил себя за голову и, кажется, плакал. Я не хотел его еще более волновать и потому молча простился с ним и уехал.

Наступил май месяц, мне предстоял выпускной экзамен; скоро я должен был проститься и с университетом, и с Москвою, и с моими Ваньковскими. Судьба Лидии Николаевны решена окончательно: она помолвлена за Марасеева, хотя об этом и не объявляют. Свадьба, вероятно, будет скоро, потому что готовят уже приданое. Пионова торжествует и приезжает раз по семи в день.

Марья Виссарионовна еще более подчинилась приятельнице; как проснется, так и посылает за нею. Марасеев, говорят, нанял щегольскую квартиру; он решительно цветет и целые дни у Ваньковских. Лицо его сделалось менее опухло и красно. Лидия Николаевна не принимает никакого участия в хлопотах о своей свадьбе, но с женихом ласкова. Иногда мне досадно на нее, а чаще жаль, мы с ней почти не видимся, хоть я и бываю у них почти каждый день; она как будто бы избегает меня... Леонид по наружности спокоен. Меня очень радует, что он начал заниматься, и тут только я увидел, какими блестящими способ-

ностями он наделен был от природы. В две недели он прошел с самыми легкими от меня пособиями весь гимназический курс математики и знал его весьма удовлетворительно. О свадьбе сестры он говорил мало. Я раз его спросил, передавал ли он Лидии Николаевне, что мы узнали о ее женихе, он отвечал, что нет, и просил меня не проговориться; а потом рассказал мне, что Иван Кузьмич знает от Пионовой весь наш разговор об нем и по этому случаю объяснялся с Марьею Виссарионовною, признался ей, что действительно был тогда навеселе; но дал ей клятву во всю жизнь не брать капли вина в рот, и что один из их знакомых, по просьбе матери, ездил к бывшему его полковому командиру и спрашивал об нем, и тот будто бы уверял, что Иван Кузьмич – добрейший в мире человек. Все бы это было хорошо, только, кажется, Леонид мало этому верил, да и у меня лежало на сердце тяжелое предчувствие; внутренний голос говорил мне: быть худу, быть бедам!

Марья Виссарионовна, сердившаяся на сына, сердилась и на меня. Во все это время она со мною не кланялась и не говорила; но вдруг

однажды, когда я сидел у Леонида, она прислала за мною и просила, если я свободен, прийти к ней. Леонид усмехнулся. Я пошел. Она приняла меня с необыкновенным радушием и, чего прежде никогда не бывало, сама предложила мне курить.

– Я вас давно хотела спросить, – начала она, – что, Леонид, видно, совсем от меня хочет отторгнуться?

– Почему же вы это думаете? – спросил я ее, наоборот.

– Потому что я его совсем не вижу: что он этим хочет показать?

– Он думает, что вы сердитесь на него за последнее объяснение, в котором и я участвовал.

– Я не могла тогда не рассердиться: он слишком забылся.

– Чем же он забылся? Он говорил только по искреннему желанию добра Лидии Николаевне.

– По искреннему желанию добра Лидии Николаевне? Да чем же вы, господа, после этого меня считаете? Неужели же я менее Леонида и вас желаю счастья моей дочери,

или я так глупа, что ничего не могу обсудить? Никто из моих детей не может меня обвинить, чтобы я для благополучия их не забывала самой себя, – проговорила Марья Виссарионовна с важностью.

Я уверен, что этот монолог сочинила ей Пионова, и все эти мысли подобного материнского самодовольства она ей внушила.

– Я удивляюсь, – продолжала Марья Виссарионовна, – я прежде никогда в поступках Леонида не замечала ничего подобного и не знаю, откуда он приобрел такие правила.

Я понял, что это было сказано на мой счет.

– Вы с ним дружны, – отнеслась она потом ко мне прямо, – растолкуйте ему, что так поступать с матерью грешно.

– Леонид Николаич и без моих наставлений вас любит и уважает, – возразил я.

– Отчего ж он убегает меня? Вы сами имеете матушку, каково бы ей было, если бы вы не захотели видеть ее? И что это за фарсы? Сидит в своем кабинете, как запертый, более месяца не выходит сюда. Мне совестно всех своих знакомых. Все спрашивают: что это значит, что его не видать? И что же я могу на это

сказать?

«Не все знакомые, а только Пионова спрашивает тебя об этом, потому что ей скучно без Леонида», – подумал я.

– Леонид Николаич придет сейчас, если вы ему прикажете, – сказал я вслух.

– А если не придет?

– Придет-с.

– Нет, я вижу, вы его не знаете: он очень упрям. Поспоримте, что не придет.

– Извольте.

– Сходите сами, и увидите.

Я пошел, сказал Леониду, и он, как я ожидал, тотчас же пришел со мною. Марье Виссарионовне было это приятно, отчасти потому, что, любя сына, ей тяжело было с ним ссориться, а более, думаю, и потому, что она исполнила желание своего друга Пионовой и помирилась с Леонидом. Однако удовольствие свое она старалась скрыть и придала своему лицу насмешливое выражение.

– Я сейчас об тебе спорила, – начала она.

Леонид молчал.

– Я говорила, что ты не придешь.

– Нет-с, я пришел, – отвечал Леонид.

– Отчего же ты такой нахмуренный; все еще изволишь на меня гневаться?

– Я не гневаюсь, а вступался только за сестру. За что надобно на меня сердиться – вы ничего, а где я не виноват – сердитесь.

– Я ни за что на тебя не могу сердиться. Тебе стыдно быть в отношении меня таким неблагодарным.

Леонид молчал.

– Я не могу понять, – продолжала Марья Виссарионовна, – с чего ты взял так об Лиде беспокоиться; она сама выбрала эту партию.

– Никогда бы она не выбрала, если бы вы два года не настаивали и не требовали бы от нее этой жертвы.

– Оставим, Леонид, этот разговор; если ты пришел сердить меня, так лучше было бы тебе не приходиться.

– Я вас и не думаю сердить, а только говорю и всегда скажу, что выдать Лиду за этого человека – значит погубить ее.

Марья Виссарионовна усмехнулась.

– Он глуп... пьян, – продолжал Леонид, – состояние у него никто не знает какое... пугает нас своим векселем, который при наших де-

лах ничего не значит; а если, наконец, нужно с ним расплатиться, так пусть лучше продадут все, только бы с ним развязаться.

Желая поддержать Леонида, я тоже вмешался.

– За Ивана Кузьмича выдать не только Лидию Николаевну, но и всякую девушку есть риск; это мнение об нем общее – мнение, которое мне высказал его товарищ, в первый раз меня увидевший.

Марья Виссарионовна молчала. Наши представления начинали ее колебать, инстинкт матери говорил за нас, и, может быть, мы много бы успели переделать, но Пионова подросла вовремя. Марья Виссарионовна еще издали услышала ее походку и сразу изменилась: ничего нам не ответила и, когда та вошла, тотчас же увела ее в спальню, боясь, конечно, чтобы мы не возобновили нашего разговора.

На другой день я спросил Леонида, нет ли каких последствий нашего объяснения.

– Никаких; со мною мать ласкова, – отвечал он.

– А об Лидии Николаевне что говорит?

– Поет старые песни; ничего тут не сделаешь.

Я с своей стороны тоже убедился, что действовать на Марью Виссарионовну было совершенно бесполезно; но что же, наконец, сама Лидия Николаевна, что она думает и чувствует? Хотя Леонид просил меня не говорить с нею об женихе, но я решился при первом удобном случае если не расспросить ее, то по крайней мере заговорить и подметить, с каким чувством она относится к предстоящему ей браку; наружному спокойствию ее я не верил, тем более что она худела с каждым днем.

Экзамен кончился, оставалась всего неделя до моего отъезда из Москвы. Я пришел к Леониду с раннего утра и обедал у него. Часу в седьмом Марья Виссарионовна с женихом уехала на Кузнецкий мост. Леонид пошел в гостиную, я за ним; он сел за рояль и начал одну из сонат Бетховена. Я часто слышал его игру и вообще любил ее, но никогда еще она не производила на меня такого глубокого впечатления: Леонид играл в этот раз с необыкновенным одушевлением, как будто бы наблевшее сердце его хотело все излиться в зву-

ках. Вошла Лидия Николаевна.

– Я пришла послушать брата, – сказала она и села около меня.

Леонид продолжал играть и не обращал на нас внимания.

– Вы скоро едете? – спросила меня Лидия Николаевна вполголоса.

– Через неделю.

– Не забывайте нас: мне жаль брата, он очень вас любит и станет скучать без вас.

– Что делать, будем хотя изредка переписываться, – сказал я.

Несколько минут мы молчали.

– Вы слышали, я замуж выхожу? – начала Лидия Николаевна совсем тихим голосом.

– Слышал.

– Вам нравится мой выбор?

Я молчал.

– Он очень хороший человек.

Я молчал.

– Я ему давно нравлюсь.

– Еще бы вы ему не нравились, – сказал я, наконец. В голосе моем против воли слышалась досада.

– Скоро свадьба? – прибавил я.

– Не знаю.

– Где вы будете постоянно жить?

– Тоже не знаю, ничего не знаю... За что маменька сердится на брата?

– За вас.

– Ах, боже мой! Я это предчувствовала. Уговорите его, пожалуйста, чтобы он ее не сердил: у нее горя много и без нас.

– Он ни в чем не виноват; я на его месте сделал бы больше, – возразил я.

– Что же бы вы сделали?

– Я бы на вас стал действовать.

– А если бы я вас не послушалась?

– Не думаю.

– Нет, не послушалась бы; я бы, может быть, согласилась с вами, но не послушалась, потому что не могу собой располагать.

Мы опять молчали.

– Сколько я предан вашему семейству, – начал я, – как искренне люблю вашего брата и как желаю вам счастья: это видит бог!.. И уверен, что из вас выйдет кроткая, прекрасная семьянинка, но будущего вашего мужа не знаю.

– Он любит меня.

– Уверены ли вы в этом? И, наконец, любите ли вы сами его?

– Я привыкла к мысли быть его женою и уважаю его за постоянную дружбу к нам.

– Лидия Николаевна, не обманываете ли вы себя? Иван Кузьмич вам не пара; когда-то вы мне сказали, что выйдете замуж по расчету, потому что это удобнее, тогда я не поверил вашим словам.

– Как вы все помните!

– Это нетрудно, потому что вижу подтверждение ваших слов, хотя все-таки не могу допустить той мысли, чтобы вами руководствовало столь ничтожное чувство.

– Отчего же?

– Оттого, что оно прилично только самым пустым женщинам, которые сами не способны любить, да и их никто не полюбит.

– А если я именно такая женщина?

– Если вы такая женщина, то смотрите остерегитесь и не ошибитесь в расчете.

– Нет, я не такая: не обвиняйте меня, вы многого не знаете.

– Все знаю, – возразил я, – и все-таки вас обвиняю... – хотел было я добавить, но, взглянув

на Лидию Николаевну, остановился: у ней были полные слез глаза. Леонид тоже взглянул на нас, перестал играть, встал и увел меня к себе в кабинет.

– Что вы такое говорили с Лидой? – спросил он.

Я рассказал ему от слова до слова: ему было неприятно.

– Зачем? Не говорите ей более: будет с нее и без наших слов, – сказал он и вздохнул.

VI

Я видел после этого Лидию Николаевну всего один раз, и то на парадном вечере, который хотя и косвенно, но идет к главному сюжету моего рассказа. Получив приглашение, я сначала не хотел ехать, но меня уговорил Леонид, от которого мать требовала, чтобы он непременно был там.

Мы приехали с ним вместе и застали довольно большое число гостей. Квартуру Иван Кузьмич нанял действительно щегольскую и прекрасно ее меблировал. Надобно сказать, что я, человек вовсе не щепетильный, бывал в самых отдаленных уголках провинций, жила в столице в номерах, посещал очень незавидные трактиры, но таких странных гостей, каких созвал Иван Кузьмич, я редко встречал. Дамы были какие-то особенного свойства, не говоря уже о предметах их разговоров, о способе выражения, самая наружность их и костюмы были удивительные: у одной, например, дамы средних лет, на лице было до восьми бородавок, другая, должно быть, девица, была до того худа, что у ней между собствен-

ною ее спиною и спинкою платья имелся необыкновенной величины промежуток, как будто бы спина была выдолблена. Третья, по-видимому, ее приятельница, высокая, набеленная, нарумяненная, дама или девица, трудно догадаться, сидела молча, вытянувшись, как будто бы проглотила аршин, и только обводила всех большими серыми глазами. Мужчины тоже не лучше; особенно обратил на себя мое внимание один господин, гладко причесанный, с закругленными висками и сильно надушенный пачулями. Он переходил из комнаты в комнату и чрезвычайно внимательно рассматривал столовые бронзовые часы, карманные часы, стоявшие в футляре на столике, горку с серебром, поставленную в гостиной, даже оглядывал бронзовый замок у двери и пробовал рукою доброту материй на драпировке и, кроме того, беспрестанно пил лимонад, как бы желая успокоить взволнованную созерцанием ценных вещей кровь. «Что такое и для чего он это делает?» – подумал я, и мне пришло в голову смешное подозрение, что он рассматривает с целью украсть что-нибудь. В числе гостей имелся и

купец, как можно было это заключить по длиннополному сюртуку, бороде и прическе в скобку, но купец не русский, потому что его черные курчавые волосы и черное лицо напоминали цыганский тип. С ним толковал вполголоса маленький, плешивый, в потертом фраке господин, и толковал с большим одушевлением; он то шептал ему на ухо, то высчитывал по пальцам, то взмахивал руками и становился фертом, но купец, видно, мало сдавался на его убеждения; физиономия его как будто бы говорила: охота тебе, барин, надсажаться, меня не своротишь, я свое знаю и без тебя.

Большая часть этих гостей обращалась с хозяином без всякой церемонии и даже называла его разными родственными именами: дама с бородавками именовала его племянником, худощавая девица – кузенком, нарумяненная дама или девица – кумом, чиновник – сватом, господин, осматривающий ценные вещи, – братом.

Я начал расспрашивать об всех этих господах бывшего тут же желтолицего поручика, который по-прежнему курил и по-прежнему

ядовито на всех посматривал. Он, впрочем, знал только троих и объяснил мне, что купец – лошадиный барышник, высокая дама или девица, называющая Ивана Кузьмича кумом, будто бы многим кума, и удивился, почему я ее не знаю, тогда как у ней есть шляпный магазин. Посреди этого общества Пионова была решительно лучше всех. Разряженная, как на бал, она, должно быть, никак не ожидала, что Иван Кузьмич назовет таких неинтересных гостей; сначала она всех оглядывала, делала гримасы и, наконец, заключила тем, что не стала обращать ни на кого внимания и устала, не отводя глаз, томный взор на сидевшего в углу Леонида. Муж ее, как колосс родосский, возвышался над всеми в соседней комнате; он играл там в карты. Ваньковская с дочерью приехала довольно поздно. Иван Кузьмич ввел их в гостиную с торжеством. Марья Виссарионовна, как и Пионова, осмотрела всех, переглянулась с приятельницею и уселась рядом с нею. Затем последовала смешная и досадная сцена: дама с бородавками, худощавая девица и господин во фраке вдруг вздумали рекомендоваться

Ваньковским, и не Марье Виссарионовне, а Лидии Николаевне, с просьбою, чтобы она их полюбила и не оставила на будущее время своим знакомством и расположением. Бедная девушка переконфузилась и не знала, что ей отвечать и куда глядеть.

Вскоре за Ваньковскими Иван Кузьмич привел еще нового гостя – но этот был совсем другого рода: мужчина лет тридцати, прекрасно сложенный, с матовым цветом лица, брюнет, но с голубыми глазами, одетый франтом, одним словом, совсем красавец.

– Петр Михайлыч, – проговорила при входе его Лидия.

– Ах, *monsieur* Курдюмов! Давно ли вы здесь? – воскликнула Марья Виссарионовна.

– Не более двух часов, как въехал в заставу, был сейчас у вас, – отвечал гость, садясь около Лидии Николаевны.

– И там, вероятно, вам сказали, что Марья Виссарионовна у меня, – вмешался Иван Кузьмич.

– Да, – отвечал гость и отнесся к Леониду! – *Bon soir, cher Leonide!*[7]

Леонид кивнул ему головой.

– Вы теперь откуда? – спросила его Марья Виссарионовна.

– Теперь из Петербурга.

– Долго там изволили быть? – вмешался опять Иван Кузьмич.

– Нет, несколько дней.

– Где ж вы были этот год? – сказала Марья Виссарионовна.

– В деревне.

– И не скучали? – спросила Лидия.

– Я скучал в том отношении, что мои милые соседи не жили в деревне.

– Нам нынче хотелось, очень хотелось пожить в ваших местах, но никак невозможно было по моим несносным делам, – подхватила Марья Виссарионовна.

– У вас так много занятий, что вам, я думаю, и без соседей не скучно, – заметила Лидия.

– Нет, я скучал, – отвечал Курдюмов.

«Так это сосед Ваньковских», – подумал я, а на первый взгляд он мне показался иностранцем. Я ожидал, что это какой-нибудь итальянский певец, музыкант или француз-путешественник, потому что в произношении его и

в самых оборотах речи слышалось что-то нерусское, как будто бы он думал на каком-то иностранном языке, а на русский только переводил.

Затем пошло все обыкновенным порядком. Пионова, должно быть, видела Курдюмова в первый раз и, желая его заинтересовать собою, начала к нему беспрестанно обращаться с различными фразами и вопросами на французском языке, делая страшные ошибки и несносно произнося. Курдюмов отвечал ей вежливо, но коротко и все заговаривал или с Лидией или с Марьей Виссарионовною. Иван Кузьмич был тоже очень смешон в обращении с Курдюмовым: он беспрестанно его угощал то чаем, то конфетами, то сигарами, и тот от всего отказывался.

Ужин был накрыт на маленьких столиках: я с Леонидом случайно очутился за одним столом с Пионовым, его партнерами и желтолицым поручиком. Здесь я в первый раз в жизнь мою видел на Пионове, сколько один человек может выпить без всяких признаков опьянения. В продолжение вечера, находясь, по его выражению, под дирекциею супруги,

он постничал и выпил только рюмок пять до-пелькюмеля[8], но за ужином вознаградил себя сторицею. Насмешливый поручик заметил ему, что на столе мало вина, которого стойло четыре бутылки.

– Мало, сам вижу, что мало. Благодарю вас, молодой человек, что вы меня понимаете. В старые годы не так бывало: мы выпивали, что глазом окинешь, а нынче подадут, что одною рукою поднимешь, да и думают, что угостили хорошо. Это, как я вижу, все конфекты; ну, конфектами мы после займемся, – отвечал Сергей Николаич. – Эй ты, севильский цирюльник, – отнесся он к официанту, – подай-ка сюда господина квартирмейстера – ромашки, – и затем, объяснив, что ром он называет квартирмейстером, потому что он в желудке приготавливает квартиру к восприятию дальнейшего, выпил залпом стакан квартирмейстера, крякнул и съел кусок хлеба.

– Теперь хорошо: испаринка началась, теперь можно и поесть, – продолжал он и, отвалив себе на тарелку три звена белорыбицы, съел все это в минуту, как яйцо всмятку.

Леонид начал угощать Сергея Николаича и

налил ему стакан хереса; это он делал, как я уверен, в досаду Пионовой.

– Разве уж для тебя, душа?.. Изволь, не могу отказать, ты малый отличный, я тебе пророчу, что из тебя выйдет со временем превосходный пьяница, – отвечал Пионов и выпил херес.

Поручик и партнеры Пионова просили его выпить и для них.

– И для вас? Извольте, я готов услужить каждому, а себе в особенности, – порешил Сергей Николаич и еще выпил от каждого по стакану и начал есть.

– Вы, господа, – говорил он, – сами не пейте: вы люди молодые; это может войти в привычку, в обществе это не принято; я сам тоже терпеть не могу вина и, когда увижу его, тотчас стараюсь уничтожить, что я и сделаю с этим шато-марго.

И действительно сделал: бутылки как не бывало. Вошел Иван Кузьмич.

– Господа, пожалуйста, кушайте! Что ты, Сергей Николаич, выпил бы чего-нибудь, – сказал он.

– Да что, брат, пить? Пить-то у тебя нечего:

вот на столе поставлены были четыре бутылки; молодые люди все выпили, а мне, старику, ничего и не досталось.

– Я велю сейчас подать.

– Да, да, вели; не щади меня, душа моя, я не стою твоего сожаления. А сам-то что?.. Хоть бы понюхал, братец. На! Понюхай, славно ведь пахнет.

– Не могу, братец, нынче, – отвечал Иван Кузьмич и ушел, чтобы приказать еще подать вина.

Пионов продолжал пить и есть, толкуя в то же время, что рюмками не следует пить, так как это сосуд для женщин, потому что они с тоненькими талиями и женского рода.

Его никто уже не слушал. Мы переглянулись с Леонидом и вышли в залу, где ужинали дамы. Курдюмов сидел рядом с Лидиею Николаевною и что-то ей рассказывал; Иван Кузьмич стоял у них за стульями. После ужина Пионова вдруг села рядом с Леонидом.

– Леонид Николаич, довезите меня домой; Серж, вероятно, останется в карты играть, а я ужасно устала.

– Я с ним приехал, – отвечал Леонид, ука-

зывая на меня.

– Он, вероятно, будет так добр, что доедет с кем-нибудь.

– Нет, нельзя, я к нему еду.

– Вы все по-прежнему нелюбезны, неисправимый человек, – проговорила она и задумалась.

Леонид отошел от нее.

Ваньковские вскоре уехали; их провожал Иван Кузьмич и Курдюмов; последний пожал дружески руку Лидии Николаевны и застегнул ей манто.

– Курдюмов, видно, хорошо знаком с вашими? – сказал я Леониду, когда мы сели в экипаж.

– Знаком: в деревне часто к нам ездил... Не люблю я его.

– А что?

– Антипатичен, а поет недурно.

– Поет недурно?

– Да...

Леонид у меня ночевал. На другой день я совсем уехал из Москвы; он меня провожал до заставы; мы братски с ним обнялись и расстались.

VII

Человек предполагает, а бог располагает. Я подумал уехать из Москвы навсегда, а лет через пять случилось опять в нее вернуться, и вернуться на житье. В продолжение этого времени я переписывался с Леонидом; он меня уведомлял, что желание Пионовой исполнилось: Лида вышла за Марасеева, что дела их по долгам поправляются плохо, что он поступил в университет, но ничего не делает; вообще тон его писем, а особенно последних, был грустен, в одном из них была даже следующая фраза: «Опасения наши сбываются, Лиде нехорошо!»

Приехав в Москву, я не застал его: он с Марьей Виссарионовною и с маленькими сестрами уехал в деревню, а Лидия с мужем жила в Сокольниках; я тотчас же к ним отправился. Они нанимали маленький флигель; в первой же после передней комнате я увидел Лидию Николаевну, она стояла, задумавшись, у окна и при моем приходе обернулась и вскрикнула. Я хотел взять у ней ручку, чтобы поцеловать; она мне подала обе; ей хотелось гово-

ритель, но у ней захватывало дыхание; я тоже был неспокоен.

– Сейчас заезжал к Леониду, но его нет в Москве, – начал я.

– Да, он уехал с маменькою в деревню. Ах, боже мой, я все еще не верю глазам своим!.. Что же мы стоим?.. Садитесь!.. Не хотите ли чего-нибудь: чаю, кофею?

– Ничего покуда, хочу только насмотреться на вас... Иван Кузьмич?

– Его нет дома; он очень будет вам рад, мы почти каждый день вспоминаем вас, а над Леонидом даже смеемся, что он в вас влюблен.

– Как влюблен?

– Решительно влюблен; он слышать не может, если кто-нибудь скажет об вас дурно.

– Кто же это говорит обо мне дурно?

– Конечно, Пионова.

– Она все еще знакома с вами?

– Да, у маменьки бывает часто, а ко мне не ездит; Иван Кузьмич, впрочем, бывает у них... Она меня, вы знаете, не любит, – отвечала Лидия. И снова взяла меня за руку и крепко пожала. На глазах у нее навернулись слезы.

– Скажите же что-нибудь про себя, – продолжала она: – где вы были, что вы делали? Я несколько раз спрашивала Леонида, он мне ничего подробно не рассказывал, такой досадный!

– Я был во многих местах и служил.

– Я думала, что вы уж женились?

– Это почему вы думали?

– Так, мне казалось, что вы непременно женитесь на Верочке Базаевой.

– Это с чего пришло вам в голову?

– Сама не знаю, а часто об этом думала.

– Ошибались, я ни на Вере Базаевой и ни на ком не женился, а вы вот вышли замуж, и потому не вам бы меня, а мне вас следовало спрашивать.

– Разве я не при вас вышла замуж?

– Кажется.

– Ах да, я и забыла, это уже было так давно, вы, однако, знали, что я выхожу за Ивана Кузьмича?

– Догадывался.

– Нет, вы знали, вы даже говорили мне об этом, и я никогда не забуду ваших слов.

– Я уехал до вашей свадьбы.

– Теперь вспомнила: вы уехали на другой день после вечера у Ивана Кузьмича. Как я была тогда сердита на себя; я никак не думала, что вы уедете, не простясь с нами, я хотела вам сказать многое после этого вечера.

– Скажите теперь.

– Теперь уже нечего говорить.

– Стало быть, теперь для вас бури промчались, гроза миновалась?

– Не совсем: бури, кажется, еще только начинаются; вы где живете?

– На Тверской.

– Нет, зачем? Переезжайте в Сокольники.

– У меня дела есть в Москве.

– Ну, что дела!.. Отсюда можно ездить, переезжайте. Бог даст, придет Леонид, нам будет очень весело. Переезжайте.

Я согласился.

– А сегодня у нас отобедаете?

– Если вам угодно.

– Да, непременно, я вас познакомлю с моею bellesoeur[9], сестрою Ивана Кузьмича.

– Она не вроде тех, которых я видел у него на вечере?

– О нет, то родня его с отцовской стороны,

а это совсем другая; очень умная девушка, она вам понравится.

Так говорила Лидия Николаевна, и я не спускал с нее глаз. Она мне очень обрадовалась, но в то же время видно было, что к этой радости примешивалось какое-то беспокойство. В ее, по-видимому, беспечном разговоре было что-то лихорадочное, как будто бы она хотела заговорить меня и скрыть то, что у ней лежало на сердце. Подозрения мои еще более подтвердились, когда она потом вдруг задумалась, и как-то мрачно задумалась, так что тяжело и грустно было видеть ее в этом положении. Я начал между тем осматривать комнату, в которой сидел. Квартира была слишком небогатая, несмотря на то, что, по-видимому, были употреблены все усилия, чтоб скрыть ее недостатки и хоть сколько-нибудь принарядить бедное помещение. На грязных и невысоких окнах стояли прекрасные цветы; мебель, вряд ли обитую чем-нибудь, покрывали из толстого коленкора белые чехлы; некрашеный пол был вымыт, как стеклышко.

Вошла белокурая девушка в локонах, со-

бою нехороша и немолода, но в белом кисейном платье, в голубом поясе и с книгою в руках. Я тотчас же догадался, что это m-lle Марасеева, и не ошибся. Лидия Николаевна познакомила нас и сказала, что я друг Леонида и был с нею очень дружен, когда она была еще в девушках. M-lle Марасеева жеманно поклонилась мне, села и развернула книгу.

– У нас никто не был? – спросила она.

– Нет, никто, – отвечала Лидия Николаевна.

– Ужасная тоска; я вчера от скуки принималась несколько раз хохотать и плакать.

– Сейчас кто-то подъехал, – сказал я, увидев, что на двор въехал красивый фаэтон.

M-lle Марасеева вскочила и взглянула в окно.

– Петр Михайлыч, – проговорила она – голос ее дрожал.

Я взглянул на Лидию Николаевну: она тоже вспыхнула.

– Курдюмов? – спросил я ее.

– Да, ах, какая досада! Я не одета.

– А он разве здесь же живет?

– Да, в Сокольниках. Прими его, Надина, я

уйду. Как рано ездит, – проговорила Лидия Николаевна и ушла.

Курдюмов вошел из противоположных дверей; он был в легоньком пальто, в галстук-ке болотного цвета, в пестрых невыразимых и превосходном белье. Еще более стал походить на иностранца.

– Bonjour, mademoiselle Nadine[10], – проговорил он, подавая ей руку.

– Bonjour, – отвечала та, пожимая его руку с заметным удовольствием.

– Madame est a la maison?[11] – спросил он.

– Elle va venir a l'instant.[12]

Усевшись, Курдюмов начал оглядывать свое пальто, сапоги, которые точно удивительно блестели; потом натянул еще плотнее на правой руке перчатку и, наконец, прищурившись, начал внимательно рассматривать висевший на стене рисунок, изображающий травлю тигров.

– Comme il fait beau aujourd'hui[13], – сказала Надина.

– Oui[14], – отвечал Курдюмов, не изменяя своего положения.

«Зачем этот господин живет в Сокольни-

ках и ездит, как видно, довольно часто к Ивану Кузьмичу? – думал я. – Не может быть, чтобы он находил удовольствие в сообществе с хозяином; но если предположить, что он это делает по старому знакомству или просто от некуда деваться, то вряд ли старое знакомство может иметь цену в глазах его, а чтобы ему некуда было деваться в Москве, тоже невозможно. Обе дамы ожидали его приезда, и обе, каждая по-своему, встревожились».

– Вы вчера не были на гулянье? – сказала Надина.

– Non[15], – отвечал Курдюмов.

– А зачем же третьего дня вы обещали?

– Que faire donc? J'avais des lettres a écrire pour la champagne[16]... Вас тоже не было, вы ездили в Москву!

– Одна только Лида, а я целый день была дома и ужасно скучала, на гулянье пошла злая-презлая... К счастью, попался Занатский, и мы с ним пересмеяли всех. Он очень милый молодой человек, и я начинаю его с каждым днем более и более любить.

– О!.. Любить!.. Это немножко досадно, – проговорил Курдюмов, в голосе его слыша-

лась скрытная насмешка.

– Вам досадно? Не верю, для вас не может быть это досадно, – возразила Надина.

– Отчего же не может быть? – спросил Курдюмов с ударением и протяжно.

– А!.. Если это так, так это очень лестно, – воскликнула m-lle Марасеева, – вы знаете, я очень самолюбива и начинаю думать, что вы завидуете Занатскому, который имеет счастье мне нравиться.

– Может быть.

– Ваши может быть несносны; я ненавижу ничего неопределенного; для меня может быть хуже, чем нет.

– Какой вы имеете решительный характер!

– О! да; и не я одна; мы все, женщины, гораздо решительное вас, господ мужчин, при-
своивших себе, не знаю к чему, имя героев, характер твердый, волю непреклонную; мы лучше вас, мы способны глубже чувствовать, постоянное любить и даже храбрее вас.

Курдюмов ничего не отвечал и продолжал рассматривать картину.

– Вопрос, кто лучше – мужчины или женщины, довольно старый, – вмешался я.

– Однако он еще не решен, – отозвалась Надина.

– Всякий решает его по-своему, – отвечал я.

– Вы думаете! Ах, позвольте! Мне это напомнило очень смешной анекдот: когда я жила в Калуге, мы с одним молодым человеком целый вечер спорили об этом до того, что начали сердиться друг на друга. Вдруг приезжает доктор: чудо, какой умный человек, и ужасный остряк. Я обращаюсь к нему почти со слезами на глазах и говорю: «Иван Васильевич! Бога ради, скажите нам скорее, кто хуже: мужчины или женщины?» Он вдруг, не задумавшись и очень серьезно, отвечает: «Оба хуже!» Я покатила со смеху, молодой человек тоже, а за нами все, и целый вечер повторяли: «Оба хуже!»

М-lle Марасеева из этой маленькой сцены сделалась для меня совершенно понятна. Многим, конечно, случалось встречать в некоторых домах гувернанток, по-своему неглупых, очень бойких и чрезвычайно самолюбивых, которые любят говорить, спорить, острить; ездят всегда в маскарады, ловко интригуют и вообще с мужчинами обращаются

чрезвычайно свободно и сверх того имеют три резкие признака: не совсем приятную наружность, достаточное число лет и необыкновенное желание составить себе партию; та быстрота и та энергия, с которою они стремятся завоевать сердце избранного героя, напоминает полет орла, стремящегося на добычу, но, увы! эта энергия, кроме редких случаев, почти всегда истрачивается бесполезно. Золовка Лидии Николаевны на первый взгляд показалась мне в этом же роде. Я видел, что она преследует Курдюмова, но неужели и он ею интересуется? Странно! Лидия Николаевна наконец вышла; она оделась очень к лицу, так что я никогда не видал ее столь интересною. Курдюмов поклонился ей с улыбкою, в лице его отразилось удовольствие. Кланяясь с гостем, Лидия опять как будто вспыхнула и села около меня.

– Мне все не верится, что вы приехали, – начала она. – Аннушка моя вам так обрадовалась, точно сумасшедшая, ничего даже мне не приготовила; я вовсе не знала, что она вас так любит.

Эта Аннушка была та самая горничная, ко-

горя некогда пригласила меня из кабинета Леонида в гостиную к барышне.

– Мы с Петром Михайлычем сейчас поссорились, – заговорила Надина. – Он меня просто выводит из терпения своими двусмысленными ответами, а ты знаешь, как я не люблю таинственности.

– Вы часто ссоритесь, – отвечала Лидия Николаевна.

– Mademoiselle Nadine на меня сердится, а я нет, – сказал Курдюмов.

– Я сержусь, но я и прощаю, а кто прощает, тот искупает все, потому что раскаивается, – возразила Надина, – в этой книге я нашла одну прекрасную мысль, она мне очень понравилась. По-французски теперь не помню, а по-русски: легче снести брань и побои грубого простолюдина, чем холодный эгоизм светского человека. Это справедливо.

– Et vous, madame, avez vous lu le petit ouvrage, que je vous ai recommande?[17] – отнесся Курдюмов к Лидии Николаевне.

– Pas encore[18], – отвечала та.

– C'est dommage, car il est plein d'esprit et de sentiment.[19]

– Не верьте ей – прочла, она взяла его у меня и вчера вечером все читала.

– Где же читала? Я так, только развернула, – возразила Лидия.

– Не скрывай, читала; а если ты не читаешь, так я у тебя опять возьму. Я видела, тут есть отметки? Это ваши отметки?

– Мои, – отвечал Курдюмов.

– Очень рада; непременно изучу их. По отметкам в книгах можно судить о характере человека, а мне очень хочется разгадать ваш характер.

Подали завтрак, и завтрак довольно прихотливый. Курдюмов начал есть с большим аппетитом. Лидия Николаевна предложила мне, но я отказался: мне кусок не шел в горло! Вся обстановка, посреди которой я ее встретил, мне очень не нравилась: тут что-нибудь да скрывается.

Надина вышла в залу, села за фортепьяно и начала брать аккорды.

– Иван Кузьмич рано уехал в город? – спросил Курдюмов, уставив глаза на Лидию Николаевну.

– Да, рано, – отвечала она, потупившись.

– А придет домой сегодня?

– Я думаю.

– Вы здоровы?

– Нет, не совсем; мало спала.

– У вас прекрасный цвет лица.

– Не знаю, – отвечала Лида, – я поутру чувствовала себя нехорошо, но вот он – мой старый друг – приехал, – прибавила она, беря меня за руку, – и я так обрадовалась, что все забыла.

Курдюмов покачнул головой.

– Петр Михайлыч, угодно вам петь? – проговорила из залы Надина.

– Je mange, mademoiselle[20], – отвечал Курдюмов.

– Спойте, – сказала Лидия Николаевна.

– Я, думаю, наскучил вам своим пением; я так много пою у вас, что нигде столько не пел.

– Вы так хорошо поете, вас так приятно слушать, что никогда не наскучит... Спойте!

– А l'instant[21], – отвечал Курдюмов и пошел в залу.

Лидия тоже встала и пошла, я последовал за нею.

– Вы по-прежнему, Лидия Николаевна, любите музыку?

– Да, очень; мне легче на душе, когда я слышу хорошую музыку: Петр Михайлыч прекрасно поет.

Курдюмов подошел и сел за рояль.

Надина кокетливо ему улыбнулась и встала у него за стулом. Лидия Николаевна села на дальний стул; я не вышел из гостиной, а встал у косяка, так что видел Лидию Николаевну, а она меня нет. Курдюмов запел: «Зачем сидишь ты до полночи у растворенного окна!» Он действительно имел довольно сильный и приятный баритон, хорошую методику и некоторую страстность, но в то же время в его пении не доставало ощутительно того, чего так много было в игре Леонида, – задушевности!

Надина приняла театральную позу, глаза подняла вверх и руки вытянула, как бы желая представить из себя олицетворенный восторг, Лидия Николаевна сидела, задумавшись, и слушала с большим чувством. Как хотите, это не даром; пение Курдюмова вовсе не было так уж увлекательно, откуда же такая

симпатия?

– Как мил этот романс, – заговорила Надина, – это твой любимый, Лидия, и я даже знаю, почему, ты сама так любишь сидеть у окна по вечерам.

– С чего ты взяла? Я никогда не сижу.

– Ах, mon Dieu![22] Никогда! Каждый вечер.

Курдюмов запел какую-то трудную итальянскую арию, но вдруг остановился.

– Иван Кузьмич приехал, – проговорил он и встал.

Лидия проворно пошла в лакейскую на встречу мужу, где и говорила с ним довольно тихо в продолжение нескольких минут. Курдюмов нахмурился. Надина смотрела с беспокойством на дверь в прихожую. Наконец, Лидия Николаевна возвратилась, а за нею и Иван Кузьмич, одетый в какую-то венгерку, с взъерошенными волосами и весь в пыли. Он прямо подошел ко мне и поцеловал меня.

– Здравствуйте! Вот уж, ей-богу, неожиданный гость... совсем нечаянный... сначала не поверил, ей-богу, не поверил, какими, думаю, судьбами? А если... очень рад, прошу покорнейше садиться, – говорил Иван Кузьмич, са-

дьясь.

– Здравствуйте! – отнесся он к Курдюмову; тот молча подал ему руку.

– Здоровы ли вы? – спросил Иван Кузьмич.

– Благодарю, здоров, – отвечал Курдюмов.

– А вы здоровы? – отнесся Иван Кузьмич с насмешливою улыбкою к сестре.

– Здорова, – отвечала Надина, а потом с гримасою прибавила: – Посмотрите, как вы запылились, хоть бы велели себя почистить.

– Запылился! Что делать?.. Извините; пыли много, я не виноват; пыль не сало, потер, так и отстало: а уж чего оттереть нельзя, скверно. Старого молодым нельзя сделать, – отмечал Иван Кузьмич и засмеялся. – Я очень рад, что вы здоровы; Петр Михайлыч тоже здоров. Очень рад, – продолжал он и потом вдруг отнесся ко мне:

– Как проводили время в деревне?

Я ему объяснил, что в деревне я не жил, потому что служил.

– А! вы служили? Я и не знал; по статской или военной изволили продолжать службу?

– По статской.

– Это, то есть, выходит по гражданской ча-

сти: я сам хочу идти по гражданской, в военной бы следовало, и привык, да устарел; ноги вот пухнут, не могу. Как здоровье вашего батюшки и матушки?

Я снова объяснил ему, что у меня только мать, а отец умер, что ему и прежде было известно. Иван Кузьмич посмотрел на меня с некоторым удивлением; он был если не так пьян, как я видел его некогда, то по крайней мере очень навеселе.

– Запомятовал, совсем запомятовал; а очень рад, – говорил он, – вот только у нас Марья Виссарионовна уехала с Леонидом; они вам будут очень рады, и Лидия Николаевна вам рада; она вас очень любит. Лидия Николаевна! Вы их любите?

– Я тебе это говорила, – отвечала она.

– Говорила, и я не ревную; я не ревнив, – заключил Иван Кузьмич и взглянул на жену исподлобья.

Лидия Николаевна распорядилась об обеде и беспрестанно торопила слугу, чтобы накрывал скорее на стол. Иван Кузьмич отправился было в буфет; я догадался, что он хотел еще выпить, но Лидия Николаевна пошла за ним

и помешала ему, потому что он возвратился оттуда нахмуренный, а она встревоженная. Через четверть часа мы сидели за столом. Иван Кузьмич был очень неприятен. В продолжение всего обеда он глупо и неблагопристойно шутил с женою и подтрунивал над сестрою и Курдюмовым. Из слов его можно было понять, что он намекает на их взаимную любовь. После обеда он извинился перед мною и отправился спать. Между Курдюмовым, Надиною и Лидиею Николаевною завязалось какое-то совещание. Надина говорила настойчиво, Курдюмов ее поддерживал, а Лидия полуотговаривалась. Дело объяснилось тем, что они затевали кататься, и Лидия просила меня не уходить, говоря, что они очень скоро вернутся; но я отозвался надобностию быть в Москве, впрочем, проводил их. Мне желалось видеть: какого рода их катанье. Оказалось, что Лидия Николаевна села с Курдюмовым в тильбюри[23], а Надина верхом.

VIII

Я переехал в Сокольники и первое время бывал у Лидии Николаевны довольно часто, но потом реже; мне тяжело было ее видеть. Иван Кузьмич дурит: дня по два, по три он совсем пропадает из дома и где бывает — неизвестно. Лидия Николаевна грустит и страдает, но со мною неоткровенна, а у меня недостает духу заговорить с нею об этом щекотливом предмете. Надина неутомимо преследует Курдюмова; он почти каждый день бывает у них. Понять не могу этого господина, точно он влюблен в свои длинные ногти и лакированные сапоги; целые дни, кажется, способен ими любоваться. Поет по просьбе дам он довольно часто и этим их очень интересуется, а впрочем, скучнейший, по-моему, человек, говорит вообще мало, но зато очень любит насвистывать различные арии и делает это довольно нецеремонно, когда только ему вздумается.

Однажды утром пришел ко мне от имени Ивана Кузьмича человек и просил вечером приехать. Я пошел и, не входя еще в дом,

услышал из открытых окон говор нескольких голосов. Вхожу; полна зала гостей, и все старые знакомые: лошадиный барышник, гладко причесанный брат и еще двое каких-то господ, очень дурно одетых. Все играли в карты; сильный запах ромом давал знать, что пили пунш; Иван Кузьмич был уже пьян и сильно встревожен; он играл с Пионовым, который, увидев меня, выразил большое удовольствие и тут же остроумно объяснил об вновь изобретенном напитке, состоящем в том, что он сначала выпьет рюмку рому, потом захлебнет чаем, потом встряхнет желудок, а там и делается пунш.

Лидия Николаевна сидела одна в гостиной. Я прошел к ней. На глазах ее видны были заметные следы недавних слез.

– Что вы у нас так давно не были? Бог с вами. – сказала она.

– Я был не так здоров, – отвечал я.

Вошел лакей.

– Водку прикажете подавать? – спросил он Лидию Николаевну.

– Еще девятый час, – возразила она.

– Спрашивают-с.

– Всего девятого половина.

Лакей ушел.

– Я тоже больна, – продолжала Лидия Николаевна, обратившись ко мне, – голова все болит, хочу пройтись, да не с кем; Надина уехала к знакомым. Пойдемте!

– Очень рад, – отвечал я.

Лидия Николаевна надела шляпку, бурнус, и мы никем не замеченные вышли задним крыльцом. Она попросила мою руку и оперлась на нее. Дойдя до большой дорожки, Лидия Николаевна остановилась, и мы сели на ближайшую скамейку.

– Что это у вас за вечер сегодня? – начал я.

– Муж затеял! Так мне это неприятно!.. Ничего меня не слушает, – отвечала Лидия Николаевна.

– А давно ли у вас такие вечеринки? – спросил я.

– С нынешнего лета. Он гораздо хуже стал, как уехал брат и маменька. Если бы вы знали, что я переносу!

– Знаю и даже ожидал этого, когда вы еще выходили замуж.

Лидия Николаевна закрыла лицо руками и

несколько времени пробыла в таком положении, потом вдруг взяла мою руку.

– Вам жаль меня? – спросила она.

– Неужели же вы сомневаетесь?

– Нет, я верю вам. Скажите мне, научите меня, что делать? Я так поглупела, так растерялась, что ничего не могу сообразить.

– Что мне вам посоветовать? – возразил я. – Советовать или очень легко, если хочешь отделаться одною фразою, или уж очень трудно... Как можно было выходить за подобного человека?

– Нет, я должна была выйти за него. Послушайте, теперь я с вами могу говорить откровенно. Знаете ли, что мы ему до свадьбы были должны сто тысяч, и если бы ему отказали, он хотел этот долг передать одному своему знакомому, а тот обещал посадить мать в тюрьму. Неужели же я не должна была пожертвовать для этого своею судьбою? Я бы стала после этого презирать себя.

– Но кто же вам говорил об этом долге и обо всем?

– Мне говорила это Пионова.

– И вам не совестно было верить этой жен-

щине?

– Этому нельзя было не верить... Она ко мне точно не расположена, но мать она любит и говорила мне об этом с горькими слезами; наконец, сама мать говорила об этом.

Я только пожал плечами.

– Об этом что уж говорить, – продолжала Лидия Николаевна, – теперь уж этого изменить нельзя, все кончено.

«Конечно, уж кончено», – согласился я мысленно.

– Добр ли по крайней мере Иван Кузьмич по характеру? И любит ли вас? – спросил я, помолчав.

– Добр и любит, когда этого мерзкого вина не пьет, а как закутит, совсем другой человек. Ко мне теряет всякое уважение, начинает за все сердиться... особенно последнее время, приезжая из Москвы... там кто-нибудь его против меня вооружает.

– Я думаю, те же Пионовы.

– Да, и Пионовы, но они не столько: тут есть, говорят, другая дрянная женщина – старинная его привязанность. Я бы и не знала, да мне Аннушка показала ее раз здесь на гуля-

НЬЕ.

– Кто же она такая?

– Не знаю, магазинщица какая-то.

– Высокая, прямая?

– Да.

Это была не кто иная, как названная кума, которая у Ивана Кузьмича была на вечере. Лидия Николаевна это забыла, а напоминать ей я не счел за нужное.

– Самое лучшее: не давайте ему пить, – сказал я.

– Дома я ему не даю, так старается как-нибудь потихоньку; наскучит быть вечно на страже, а не то уедет в Москву.

– Не отпускайте.

– Как его не отпустишь, не маленький ребенок. Я и то стараюсь всегда с ним ездить, так не берет. Говорит, что ему надобно в присутственные места. Как же удержать человека, когда он хочет что-нибудь сделать! Сначала я тосковала, плакала, а теперь и слез не достаёт. Я его очень боюсь пьяного, особенно когда он ночью приезжает, начнет шуметь, кричать на людей, на меня: ревнив и жаден делается до невероятности. Теперь все укоряет,

что потерял для меня сто тысяч.

– Злой и низкий человек, больше ничего.

– Нет, когда не пьян, совсем другой; просит, чтобы все забыла, целует руки, часа по два на коленях стоит, так что неприятно видеть.

– Вы бы его больше бранили, что делать? Против подобных людей надобно употреблять грубые средства.

– Я не в состоянии. Сестра Надина в этом случае мне помогает. Она читает ему нотации по целым дням. Первое время это была решительно моя спасительница; он ее как-то побаивался, а теперь и на ту не смотрит; как попадет в голову, сейчас начнет смеяться и бранить ее почти в глаза; она, бедная, все терпит.

– А вы с нею дружны?

– Да, я люблю ее. Она меня тоже очень полюбила. Прежде она никогда не жила с братом вместе, а теперь живет для меня.

– Полно, так ли, Лидия Николаевна?.. Вы слишком доверчивы! Вы готовы верить в любовь каждого, кто хоть немного вас приласкает. Я думаю, Надина имеет другую, более эгои-

стическую цель.

– Может быть, ей хочется и в Москве пожить!

– Именно в Москве жить, и жить затем, чтобы победить сердце Курдюмова.

– А вы разве уж заметили?

– Еще бы! Для этого надобно иметь не большую проницательность.

– Странная, я ее не понимаю; она очень умная девушка, но в этом отношении смешна: она влюбилась в него на другой же день, как увидела его.

– Это не мудрено; он так хорош собою и имеет столько других достоинств, что может и не Надину увлечь.

– Но как бы ни был хорош мужчина, все-таки надобно узнать его сколько-нибудь, чтобы полюбить.

– А вы сами лично знаете Курдюмова?

– Да, я его знаю; он человек очень благородный, и у него прекрасное сердце.

– Вот как! Даже и сердце прекрасное! Кто же об этом вам сказал? Не сам ли он?

– Ну, нет; что вы смеетесь! Он, право, хороший человек, немного светский, но не похож

на других. Посмотрите, сколько у него души в пении!

– Нисколько; счастливый голос и рутина.

– Полноте, вы несправедливы к нему! За что вы его не любите?

– Я его не люблю за то, что его не любит ваш брат, и я в этом случае Леониду верю безусловно.

– Нет, Леониду нельзя верить; он чудный человек, но капризный. Из всех знакомых он любит только одного вас, а прочих никого.

– Если Леонид Николаич чересчур исключителен в своих привязанностях, то вы совершенно противоположны ему в этом отношении. Любить и быть дружным надобно осторожно, особенно женщинам, чтобы не испытать потом позднего и тяжелого разочарования.

– Но зачем же видеть людей в таком черном цвете, и без того в жизни много горького, а что ж будет, если никому не станешь верить и никого не будешь любить? Это ужасно! – отвечала Лида, встала и подала мне руку.

Мы пошли; я видел, что ей не хотелось

продолжать наш разговор.

У женщин мыслящих и чувствующих есть своего рода ложные сердечные убеждения, изменить которые так же трудно, как и изменить натуру их сердца, и противоречия которым горьки и обидны для них. Так было и с Лидою; но я не стеснился этим и решился высказать ей самую горькую правду.

– Не знаю, Лидия Николаевна, – начал я, – с чего вы предполагаете в Курдюмове прекрасное сердце! По-моему, он человек светский, то есть человек внешних достоинств. Приезжая к вам, он насилует себя; ему нужен иной круг, ему неловко в вашей маленькой гостиной, и всем этим, вы, конечно, понимаете, он жертвует не для Ивана Кузьмича, на которого не обращает никакого внимания, и не для Надежны, от которой отыгрывается словами, а для вас.

Когда я говорил последние слова, то чувствовал, что рука Лидии дрожала, но я не остановился и продолжал:

– Вы в самом удобном положении, чтобы за вами ухаживать; вы женщина умная, вы несчастливы, быть вашим утешителем при-

ятно, и незаметно можно достигнуть своей цели.

– Довольно, будет, – перебила Лидия Николаевна, – вы безжалостны и несправедливы. Я к нему чувствую только дружбу и была бы очень довольна, если бы он женился на Надежде.

– Вы знаете, что этого никогда не случится. Будьте к себе строже, Лидия Николаевна, поверьте свои чувства и остерегитесь, когда еще можно.

– Неужели же вы обвиняете меня и за дружбу? Я и с вами дружна, но не влюблена же в вас, – возразила она с достоинством.

Мне это сравнение показалось несколько обидно.

– Дай бог, чтобы вы питали к этому человеку то же чувство, как и ко мне, но что наши чувствования в отношении вас совершенно различны, в том я готов дать клятву. Не скрою, что первое время нашего знакомства и я смотрел на вас иными глазами, но с той минуты, когда узнал, что вы выходите замуж, я овладел собою, с той минуты вы сделались для меня родною сестрою, и только. Курдю-

мов действовал, кажется, совершенно иначе: на вас – девушку, он вряд ли обращал какое-нибудь внимание, а заинтересовался вами, когда вы сделались дамою.

– Довольно, кончимте этот разговор. Вы безжалостны, с вами иногда страшно говорить; вы способны убить в женщине веру и в самое себя и в других.

– Я сказал только правду, как я ее понимаю.

Говоря это, мы подошли к дому и опять с заднего крыльца прошли в гостиную, там нашли Курдюмова. Лидия взглянула на меня и потупилась.

– Vous vous etes promenee?.[24]

Лидия кивнула головою и села. Я взглянул в залу; там была возмутительная сцена: игроки перестали играть и закусывали. Все они были навеселе и страшно шумели и спорили. Иван Кузьмич и Пионов еще играли. У первого лицо было совершенно искажено, он, верно, проигрался. Пионов хохотал своим громадным голосом на целый дом.

– Ну, дама так дама!.. Извините, сударыня, и вас пришибем. А валет? Эх, брат Иван, гово-

рил, не надейся на валета. Ну, туз твой, твой!.. Али нет! Десяточка-касаточка, не выдай – не выдала! Баста! – проговорил Пионов, встал и подошел к столу с закускою.

– Эге, господа, вы тут ловко распорядились: все чисто. Эй ты, кравчий! Выдай, брат, за ту же цену подливки, а мы покуда мадеркой займемся. Вы, господа, на мадерку-то и внимания не обратили, да она и не стоит – дрянь; я уж так, от нечего делать, по смиренству своему, займусь ею. Эй, Иван Кузьмич! Позабавься хоть мадеркою, раскуражь себя. Это ведь ничего, виноградное, оно не действует.

Иван Кузьмич встал и подошел к столу. Пионов налил ему полный стакан; он выпил, закурил трубку, прошелся по зале нетвердыми шагами, вошел в гостиную, посмотрел на всех нас, сел на стул и начал кусать губы, потом взглянул сердито на жену.

– Отчего вы не велели давать нам закуски? – спросил он ее, ероша себе волосы.

Лидия Николаевна не отвечала.

– Вы не велели, а я велел, – извините! – продолжал он. – Где моя сестрица?

Лидия Николаевна молчала.

– Отчего же вы со мною не хотите говорить! Я вас спрашиваю: где моя сестрица?

– Она уехала, – отвечала Лидия.

– А! Уехала, очень жаль... Петр Михайлович! Ваша mademoiselle Надина уехала, – сказал Иван Кузьмич и замолчал на несколько минут.

– Отчего ж вы не велели подавать закуску? – отнесся он опять к жене.

– Я ничего не говорила, меня дома не было... я гуляла.

– А! Вы гуляли! Вы все гуляете, и я гуляю... что же такое?

Курдюмов бледнел; я не в состоянии был взглянуть на Лидию, так мне было ее жаль.

– Вы проиграли или выиграли? – отнесся я к Ивану Кузьмичу, желая хоть как-нибудь переменить разговор.

– Проиграл-с, – отвечал Иван Кузьмич, – тысячу целковых проиграл; ничего-с, я свое проигрываю... я ни у кого ничего не беру.

Лидия встала и пошла.

– Куда же вы? Посидите с нами, мы сейчас будем ужинать, – сказал ей Иван Кузьмич.

– Я не хочу, – отвечала Лидия и проворно

ушла.

– Это значит, дамы не ужинают. Покойной ночи, а мы будем ужинать и пить; а вы тоже не ужинаете? – отнесся он насмешливо к Курдюмову.

– Не ужинаю, – отвечал тот, встал и, поклонившись, ушел.

– Ну, так и вам покойной ночи, – сказал хозяин, – вы тоже дама, у вас беленькие ручки. Прощайте; я ведь глуп, я ничего не понимаю, в вас *mademoiselle* Надина влюблена. Знаю, я хоть и дурак, а знаю, кто в вас влюблен; я только молчу, а у меня все тут – на сердце... Мне все наплевать. Я ведь дурак, у меня жена очень умна.

Я встал и тоже хотел уйти, Иван Кузьмич тут только заметил мое присутствие.

– Нет, вы, пожалуйста, не ходите, я вас люблю; сам не знаю, а люблю; а этот Курдюмов – вот он у меня где – тут, на сердце, я его когда-нибудь поколочу. Вы останьтесь, поужинайте, я вас люблю; мне и об вас тоже говорят, я не верю.

– Что ты тут сидишь? Пора, братец, ужинать, – сказал Пионов, войдя.

– Не смею: мне жена не велит ужинать... говорит: вредно... Она боится, что я умру. Ха... ха... ха... – засмеялся Иван Кузьмич. – А я не боюсь... я хоть сейчас – умру; не хочу я жить, а хочу умереть. Поцелуй меня, толстой.

– Изволь! – проревел Пионов и, прижав голову Ивана Кузьмича к своей груди, произнес: – «Лобзай меня, твои лобзанья мне слаще мирра и вина!»[25]

Я воспользовался этою минутою и ушел. Господи, что такое тут происходит и чем все это кончится!

IX

Как хотите, Лидия Николаевна более чем дружна с Курдюмовым. Она непременно передала ему последний мой разговор с нею о нем, потому что прежде он со мною почти не говорил ни слова, а тут вдруг начал во мне заискивать.

– У вас свободен вечер? – сказал он мне однажды, когда мы вместе с ним выходили от Ивана Кузьмича.

– Свободен, – отвечал я.

– Заедемте ко мне.

Я согласился. Мне самому хотелось хотя скольконибудь с ним сблизиться. Он нанял небольшую, но очень красивую по наружности дачу; внутреннее же убранство превзошло все мои ожидания. Пять комнат, которые он занимал, по одной уж чистоте походили скорее на модный магазин изящных вещей, чем на жилую квартиру: драпировка, мраморные статуйки, пейзажи масляной работы, портреты, бронзовые вещи, мебель, ковры, всего этого было пропасть, и все это, кажется, было расставлено с величайшей

предусмотрительностью: так что, может быть, несколько дней обдумывалось, под каким углом повесить такую-то картинку, чтобы сохранить освещение, каким образом поставить китайскую вазу так, чтобы каждый посетитель мог ее тотчас же заметить, и где расположить какой-нибудь угловой диван, чтобы он представлял полный уют. Видеть столько лишних пустяков, расставленных с таким глубоким вниманием, в квартире мужчины, как хотите, признак мелочности. Кто не знает, как неприятно бывать в гостях, когда знаешь, что хозяин тебя в душе не любит и не уважает, но по наружности для своих видов, насилуя себя, старается в тебе заискривать. Точно в таком положении я очутился у Курдюмова. Более часу сидели мы с ним или молча, или переговаривали избитые фразы о погоде, о местоположении, наконец он, как бы желая хоть чем-нибудь занять меня, начал показывать различные свои занятия. Прежде я думал, что он только певец, но оказалось, что он и рисует, и лепит, и гальванопластикой занимается, и даже точит из дерева, кости, серебра, и точит очень хорошо. Все его

работы я, разумеется, насколько доставало во мне притворства, хвалил, наконец и эти предметы истоцились, и мы снова замолчали. К концу вечера, впрочем, я решился затронуть за его чувствительную, как полагал, струну и заговорил о семействе Марьи Виссарионовны. Курдюмов отвечал слегка и так же слегка спросил меня: давно ли я знаком с ними? И когда я сказал, что еще учил Леонида, и похвалил его, он проговорил покровительственным тоном:

– Oui, il a beaucoup de talent pour la musique.
[26]

В отношении Лидии Николаевны больше отмалчивался и только назвал ее милою дамою, а Надину умною девушкою; говоря же об Иване Кузьмиче, сделал гримасу.

Возвратившись домой, я застал у себя нечаянного гостя. Леонид возвратился в Москву и уже часа два дожидался меня на моей квартире. Он приехал ко мне тотчас, как вышел из дорожного экипажа, не заходя даже домой, но, здороваясь со мною, не обнаружил большой радости, а только проговорил:

– Хорошо, что приехали, а то все это время

была такая скука.

– Кончили курс? – спросил я.

– Да.

– Кандидатом?

– Да.

– Много занимаетесь?

– Нет; все было не до того... У сестры бываете?

– Как же.

– Что она, здорова?

– Не совсем, кажется.

– А что благоверный ее?

– Тоже прихварывает, только своего рода болезнью.

– Опять разрешил, – проговорил Леонид и потом, помолчав, прибавил: – Курдюмов часто там бывает?

– Каждый день, – отвечал я.

Он нахмурился.

– Я познакомился там еще с новым лицом, с сестрою Ивана Кузьмича, – сказал я.

– Она еще все гостит? – проговорил Леонид.

– Гостит и не думает уезжать.

– Что ж она тут делает?

– Ничего: пламенеет страстию к Курдюмову.

Леонид ничего не отвечал, но еще более нахмурился и несколько времени ходил взад и вперед по комнате.

– Вы говорили с сестрою? – спросил он вдруг меня.

Я догадался, о чем он спрашивает.

– Говорил один раз.

– А что именно?

Я передал ему слово в слово разговор мой с Лидиею Николаевною: спор наш об Курдюмове и визит к сему последнему.

– Курдюмов какой-то всеобщий художник! – заметил я.

Леонид вышел из себя.

– О черт, художник! – воскликнул он. – У человека недостает душонки, чтобы с толком спеть романс, а вы называете его художником... Токарь он, может быть, хороший, но никак не художник.

Я не возражал Леониду, потому что был совершенно согласен с ним. Он у меня ночевал, а на другой день мы оба пошли обедать к Лидии Николаевне. Она только что приехала от

матери и очень обрадовалась брату, бросилась к нему на шею и разрыдалась. Иван Кузьмич болен. Сначала я думал, что это последствия похмелья, но оказалось, что он болен серьезнее. Вместе почти с нами приехал к нему доктор, которого я знал еще по университету, старик добрый и простой. Когда он вышел от больного, я нагнал его в передней и спросил:

– Какого рода болезнь у Ивана Кузьмича?

– А что, батенька, – отвечал старик, – подагрица разыгралась и завалы в печени нажил. Алкоголю много глотал.

– И в сильном развитии?

– Будет с него, если нашего снадобья не покушает да диеты не подержит, так на осень, пожалуй, и водянка разыграется.

– У меня есть к вам просьба, Семен Матвеевич, – начал я, – семейство здешнее я очень люблю и хорошо знаю.

– Ну, что же такое?

– И потому я просил бы вас Лидии Николаевне ничего не говорить о состоянии болезни Ивана Кузьмича, а ему скажите и объясните, какие могут быть последствия, если он не бу-

дет воздерживаться.

– Напугаешь, батенька; ты сам, может, знаешь, в чем вся наша медицина состоит: нож, теплецо, голодок и душевное спокойствие.

– Напугать необходимо; иначе он не будет ни лечиться, ни воздерживаться.

– Эко какой человек-то; спасибо, что сказал. Я его мало знаю, вижу, что пьяница. Ох, уж эти мне желудочные болезни, хуже грудных; те хотя от бога, а эти от себя, – проговорил доктор и уехал.

Обед и время после обеда прошли у нас невесело: Леонид был скучен, Лидия Николаевна, как и при первой встрече со мною, старалась притворяться веселою и беспечною, но не выдерживала роли, часто задумывалась и уходила по временам к мужу. Надина переходила от окна к окну; я догадался, кого она ждет.

В шесть часов вечера приехала Марья Виссарионовна с двумя младшими дочерьми и с Пионовой, которая у Лиды не бывала более года, но, поздоровавшись, сейчас объяснила:

– Ах, chere[27] Лидия Николаевна! Я давным-давно собиралась быть у вас, да все это

время была нездорова. Несколько раз просила Сережу взять меня с собою, не берет. Полно, говорит, mon ange[28], ты едва ноги таскаешь, где тебе ехать в Сокольники за такую даль. Так скучала, так скучала все это время. Сегодня говорят: Марья Виссарионовна приехала, а я и не верю; раза три переспрашивала человека, правду ли он говорит. Сейчас собралась и поехала; думаю, посмотрюсь на мою милую Марью Виссарионовну и повидаюсь с Лидиею Николаевною.

«Что это за бесстыдная женщина, – подумал я, – как ей не совестно говорить, что едва бродит, когда у ней здоровье брызжет из лица и она вдвое растолстела с тех пор, как я ее видел. Видно уж, у ней общая с мужем привычка ссылаться на болезнь». Страсть ее к Леониду еще не угасла, потому что, когда тот вошел в гостиную из другой комнаты, она, поздоровавшись с ним, обернулась в шаль и придала своему лицу грустное и сентиментальное выражение.

Ожидания Надины сбылись: Курдюмов часов в восемь явился. Войдя в гостиную, он немного оторопел, увидя гостей, но скоро по-

правился и начал говорить с Марьей Виссарионовной, относился потом несколько раз к Пионовой и разговаривал с Леонидом. Лидии Николаевне он едва поклонился, но с Надиной был более обыкновенного любезен; та в свою очередь пришла в какое-то восторженное состояние. Я не могу слово в слово передать теперь их разговор, потому что занят был более Лидою, но сколько припоминаю, то Надина вдруг, совсем некстати, спросила Курдюмова: был ли он влюблен? По прежней тактике я думал, что он не ответит ей, но он ответил:

– Был.

– А теперь?

– И теперь влюблен.

– Вы должны сказать: в кого?

– Подобных вещей не говорят.

– Говорят, особенно друзьям; ведь мы друзья?

– Если позволите.

– С восторгом разрешаю, и потому говорите.

– Вы сами наперед посвятите меня в вашу тайну.

– Ох, какие вы требовательные! Вы хотите, чтобы с вами были откровенны прежде, чем вы сами откровенны, и у вас недостает даже великодушия оставить нам, женщинам, право скромности. Вы сами не рискуете шагу сделать, но ожидаете, сидя спокойно в креслах, чтобы к вам подошла бедная женщина и рассказала все свои тайные помыслы, – проговорила Надина и пошла в том же роде.

Надобно сказать, что когда разговор касался любви и вообще чувств, то она заговаривалась. Вначале в ее словах был еще некоторый смысл, но потом, чем более хотела она высказаться, чем более желала выразить свои мысли, тем больше начинала нести вздор, так что уж и сама себя, вероятно, переставала понимать.

В этот раз повторилось то же: более получаса она говорила совершенную галиматью и потом вдруг переменяла разговор и начала Курдюмова просить спеть что-нибудь; он сейчас согласился и пошел в залу, Надина последовала за ним; она, вероятно, с тою целью и вызвала его в залу, чтобы остаться с ним наедине. Это очень не понравилось Марье Вис-

сарионовне.

– Что это за обращение! – отнеслась она к Пионовой.

Та покачала головой.

– И зачем она живет здесь? Мне очень неприятно, что у тебя подобная компаньонка, – прибавила Марья Виссарионовна дочери.

Лида потупилась.

Вообще Марья Виссарионовна в эти два года постарела, похудела и сделалась очень раздражительна, так что с нею говорить было невозможно; она все спорит или принимает на свой счет; на детей беспрестанно сердится. В продолжение этого вечера она сказала несколько самых обидных колкостей Лиде; на двух младших дочерей, которые вышли погулять и погуляли не более получаса, крикнула, зачем они смели так долго гулять, и даже Леониду, которому она всегда более других уступала и который обыкновенно спорил с нею очень смело, в одном пустом разговоре велела замолчать.

Х

Я не бывал у Лидии Николаевны несколько дней. Леонида тоже не видал, он живет по делам в Москве. В четверг или в пятницу, теперь уж не помню, в Сокольниках бывает общее гулянье. Я пришел на это гулянье с единственной целью встретить Лидию Николаевну; но ее не было. Надина была тут. Это несколько меня удивило: они обыкновенно всегда гуляли вместе, но еще более показалось мне странным, что Надина, встретившись со мной, отвернулась. Сама она была в необыкновенно тревожном состоянии: соломенная шляпка была у ней совсем набоку, локоны распустились и падали в беспорядке длинными прядями; она брала всех попадавших ей навстречу знакомых под руку, говорила им что-то такое с большим жаром, потом оставляла их, переходила к другим и, наконец, совсем скрылась.

Кто жила в Сокольниках, тот знает, что к концу лета они делаются очень похожими на маленький уездный городок. Все узнают друг об друге до малейших подробностей: узнают,

кто какого характера, с кем знаком и на каком основании знаком, кто что делает и, наконец, кто что ест. Маленький комераж[29], у кого-нибудь случившийся, делается предметом толков и вырастает в один день до огромных размеров. Начавшиеся здесь новые знакомства, особенно между дамами, часто развиваются к первому сентября в тесную дружбу, и наоборот. Хорошо знакомы семейства, переселившиеся вместе на дачу с единственной целью, чтобы чаще видаться, уезжая отсюда, совсем уж не видятся.

Пройдя раза два по главной аллее, я сел рядом на скамейку с одним господином из Ярославля, тоже дачным жителем, который был мне несколько знаком и которого прозвали в Сокольниках воздушным, не потому, чтобы в наружности его было что-нибудь воздушное, – нисколько: он был мужчина плотный и коренастый, а потому, что он, какая бы ни была погода, целые дни был на воздухе: часов в пять утра он пил уж чай в беседке, до обеда переходил со скамейки на скамейку, развлекая себя или чтением «Северной пчелы»[30], к которой чувствовал особенную симпатию,

или просто оставался в созерцательном положении, обедал тоже на воздухе, а после обеда ложился где-нибудь в тени на ковре, а часов в семь опять усаживался на скамейку и наблюдал гуляющих. Услышать новость, самому рассказать таковую же и вообще поговорить был большой охотник. Всем почти проходящим мимо его знакомым он говорил:

– Что вы ходите? Присядьте! Нет ли чего новенького? Поведайте.

Когда я сел около него, он остался этим очень доволен и ласково кивнул мне головой.

– Что, и вы пришли воздухом подышать? Здесь славно! Чувствуете ли, как смолой пахнет? Самый здоровый запах.

Я хоть ничего не чувствовал, но согласился, что пахнет смолой.

– А, да, кстати! – продолжал воздушный ярославец. – Вы знакомы с Ваньковскими или, как его, забыл фамилию, с зятем ее?

– Знаком, – отвечал я.

– Скажите на милость, что у них такое наделалось?

– Я ничего не слышал.

– Будто? А тут рассказывают целую исто-

рию. У этого зятя живет, говорят, сестра... живет ведь?

– Живет, – отвечал я.

– Сухощавая этакая девица, сейчас была здесь.

– Что ж из этого?

– А я вот давеча после обеда, видите вон этот бугорок под большой сосной, я вот давеча лежал тут и заснул почти, а тут подходит, как его, забыл фамилию, почтамтский чиновник, что ли, знаете, я думаю?

– Нет, не знаю.

– Э, как не знаете, верно, знаете, в самый жар еще гуляет; говорит, что декохт пьет, непременно знаете.

– Уверяю вас, что нет, – отвечал я и просил рассказать, что такое случилось у Ваньковских.

– Я думал, что вы знаете; он тут мне и рассказал, сначала попросил у меня огня и рассказал... с ним был еще какой-то молодой человек... того уж не знаю. Они мне и рассказали.

– Да что ж такое они вам рассказали? – перебил я с досадой.

– Рассказали, что сестра у них живет, ну, и к ним часто ездил Курдюмов. Курдюмова, конечно, знаете? Он мне старый знакомый, наш ярославец... богатые люди прежде были, теперь не знаю.

Никакого терпения у меня не доставало; несносный болтун точно с умыслом пытал меня.

– Я вас решительно не понимаю; что же из этого следует? – сказал я ему.

– Следует, что он к ним ездил, ну, и здесь был слух, что он на этой сестре женится, а вышло вздор. Она была, знаете, только, как я придумал, громовой отвод, а интригу-то он вел с этой молодой барыней, дочерью Ваньковской: я ее не знаю, должна быть хорошенькая, а с отцом хорошо был по клубу знаком: человек был умный, оборотливый; мать тоже знаю, видал в одном доме.

То, что я предполагал, была действительно правда, и молва об этом огласилась уже на все Сокольники. «Что бы там ни было, – подумал я, – но я должен хоть сколько-нибудь поколебать правдоподобность этих слухов». Собеседник мой показался удобным для этого

средством: он станет встречному и поперечному толковать pro и contra[31], как его направишь; я решился его разубедить.

– Это нелепые сплетни, – начал я, – я бываю в этом доме каждый день и очень хорошо знаю, что Курдюмов бывал тут без всякой цели.

– Говорят...

– Мало ли что говорят; нельзя всему верить. Эта молодая женщина слишком далека от подобных отношений, и каким же образом могло это открыться вдруг, тогда как он знаком с ними более шести лет?

– Видно, как-то открылось, я не знаю хорошенько. Я вас хотел спросить, не знаете ли вы? Вот посижу еще здесь: может быть, пройдет кто-нибудь, кто знает. Любопытно, очень любопытно узнать.

– Все это вздор!

– Не спорьте; сестра от них переехала, не захотела с ними жить, стало, не вздор, – возразил ярославец. – Эй, Николай Лукич, а Николай Лукич? Куда вы бежите? Присядьте, – крикнул он к проходящему мимо его господину в сером пальто. – Вот мы спросим Николая

Лукича, он все знает.

Но Николай Лукич только обернулся, сделал ручкой и, проговорив: «В минуточку вернусь», побежал далее.

– Погодите, он придет и все нам расскажет, – отнесся ко мне мой собеседник, но я не хотел ждать дальнейших разъяснений и отошел.

Против Лидии Николаевны я почувствовал решительную ненависть. «Неужели эта женщина, – думал я, – всю жизнь будет меня обманывать, в то время, как я считал ее чистой и невинною, в которой видел несчастную жертву судьбы, она, выходит, самая коварная интриганка; но положим, что она могла полюбить Курдюмова, я ей это прощаю, но зачем скрыла от меня, своего друга, который бог знает как ей предан и с которым, не могу скрыть этого, как замечал по многим данным, она кокетничала; и, наконец, как неблагородно поступила с бедною Надиною. Сама, вероятно, завлекла и сделала из нее ширмы своей интриги». Я решил идти к ней и сорвать с нее маску. Я застал ее в маленьком кабинете; она сидела в креслах, опустивши го-

лову на руки. Увидев меня, она вздрогнула и проговорила:

– Это вы?

– Да, я, – ответил я сурово.

Лида посмотрела на меня таким грустным в печальным взором, что решимость моя быть строгим очень поколебалась.

– Где Леонид? – спросила она.

– Он в Москве, а вы одна дома?

– Одна.

– А ваш больной Иван Кузьмич?

– Ему лучше; он уехал; у нас много перемен наделалось.

– Я слышал.

– Уж слышали? Что же такое вы слышали?

– Слышал, что Надина от вас переехала, потому что надежды ее на Курдюмова лопнули; он, говорят, ухаживал за вами.

– И это уж говорят?

– Да, говорят, и говорят на гулянье.

– Что ж: пускай говорят! Это правда.

– Не дай бог, чтоб все была правда; говорят не только, что он за вами ухаживал, но что у вас была интрига и Надина была громовым отводом, который обеспечивал ваши отноше-

ния. Неужели и это правда?

– Ну да, правда; вы этому верите, что ж еще спрашиваете?

– За что же вы сердитесь на меня? Если вам неприятно мое участие...

– Мне ничьего не нужно участия; участь моя решена, – возразила Лида.

– Но чем же решена? Вы напрасно так отчаиваетесь.

– Я не отчаиваюсь, а смеюсь. Я потерянная женщина, муж меня бросил, тут отчаяние не поможет.

– Конечно, не поможет. Лучше хладнокровно обдумать, и тогда еще можно найти какое-нибудь средство продолжить обман на год, на два.

Лида посмотрела на меня.

– Какой обман? – спросила она.

– Вроде громового отвода, которым была сделана Надина. Курдюмов, при всем своем тупоумии, на эти вещи изобретателен. Он приищет еще другой какой-нибудь способ, чтоб погубить вас окончательно.

– Не он меня губит, а другие. Он прекрасный человек и предан мне так, как, может

быть, никто, – возразила Лида.

Я пожал плечами.

– Вам это странно слышать, – продолжала она, – а вы не знаете, что когда меня, глупую, выдали замуж, так все кинули, все позабыли: мать и слышать не хотела, что я страдаю день и ночь, Леонид только хмурился, вы куда-то уехали, никому до меня не стало дела, один только он, у которого тысячи развлечений, пренебрег всем, сидел со мной целые дни, как с больным ребенком; еще бы мне не верить в него!

– К чему тут тратить много слов, Лидия Николаевна; вы влюблены в него, и этого довольно, – проговорил я с досадой.

– Я не влюблена в него, а люблю его, это вы можете сказать моему мужу, матери, брату, целому свету: мы не вольны в наших чувствах.

– Только этого недоставало, чтоб вы меня понимали так, – возразил я, берясь за шляпу.

Лида молчала.

– Не мало, но, может быть, слишком много, и без всяких прав, претендовал я на участие к вам, – продолжал я почти со слезами на гла-

зах, – извиняюсь же вашим, выражением: мы не вольны в наших чувствах.

Лида отвернулась от меня. Я снова продолжал:

– Искренно желаю, чтобы вы не ошиблись в ваших надеждах на избранного вами человека и чтобы не страдали впоследствии раскаянием. Изменить своему долгу, на каком бы то ни было основании, проступок для женщин, за который их осудит и общественное мнение и собственная совесть.

Проговоря эти слова, я вышел из кабинета, решившись совсем уйти, но сделать этого был не в состоянии, а прошел в гостиную и сел, ожидая, что Лида меня вернет. Прошло несколько минут; я превратился весь в слух. Лида меня не звала, но я слышал, что она рыдала. Я не выдержал и снова вошел в кабинет.

– О чем же вы плачете? – спросил я, садясь против нее.

– Простите меня, – отвечала Лида, протягивая мне руку, – я оскорбила вас, я сама не знаю, что говорю... Если бы вы знали, как я страдаю... Не верьте мне, я многое вам говорила неправду.

Я вздохнул свободнее.

– Дай бог, – возразил я, – но все-таки вы держали себя неосторожно с Курдюмовым.

– Неосторожно, – повторила Лида грустным голосом, – еще надобно быть осторожней, я уж и не знаю.

– Да, следовало бы, – заметил я.

– Может быть, но что ж мне делать, если я такая глупенькая, если я так слабохарактерна, вы это и прежде мне говорили, – проговорила Лида и залилась горькими слезами.

Мне стало от души ее жаль. Будь она, как жетса, во сто раз виновнее, я не в состоянии быть строгим ее судьей и буду участвовать и помогать ей, насколько во мне достанет сил и возможности.

– Что же у вас такое вышло теперь? – спросил я.

Лида несколько времени не отвечала.

– Третьего дня, – начала она, с трудом переводя дыхание, – Курдюмов говорил мне разные разности. Надина подслушала, потом он прислал мне письмо, она перехватила его и показала мужу, в этом все и произошло.

– Что ж Иван Кузьмич?

Лида глубоко вздохнула.

– Сначала он хотел меня убить, потом гнал, чтобы я шла к Курдюмову, потом плакал – это ужаснее всего, а теперь уехал и не хочет со мной жить. Если бы вы только слышали, что он мне говорил! Надина тоже так рассердилась, что я думала, что она с ума сойдет; вдвоем на меня и напали, я даже теперь не могу вспомнить об этом равнодушно. Посмотрите, как я дрожу, а первое время у меня даже голова тряслась.

Сердце кровью облилось у меня, слушая рассказ Лиды.

– Что вы теперь думаете делать? – спросил я ее.

– Сама не знаю; я очень боюсь Леонида и маменьки, что, если они услышат, а оправдаться я не могу. Они бог знает что подумают.

– За Леонида я вам ручаюсь, он вас очень любит, я ему расскажу все.

– Пожалуйста; впрочем, господи! Я сделала еще одну глупость: после этой сцены, когда Иван Кузьмич и Надина так меня разобидели, я с отчаяния написала к Курдюмову письмо, все ему рассказала и написала, что он один

остался у меня на свете и что вся моя надежда на него.

– Что ж он вам отвечал на это письмо?

– Умолял, чтоб я с ним бежала, хотел увезти меня за границу. Мне так после этого сделалось досадно и стыдно за себя. Неужели я такая потерянная женщина, что в состоянии бросить мужа? Иван Кузьмич ко мне был очень нехорош, но пусть он будет в тысячу раз хуже, пусть будет каждый день меня терзать, я все-таки хочу с ним жить.

– Другого вам нечего и делать! Крест ваш тяжел, но вы его взяли и несите.

– Я знаю... Послушайте: съездите, пожалуйста, к мужу, упрсите его, чтобы он не делал этих глупостей и приехал бы домой, и, бога ради, успокойте его об Курдюмове.

При последних словах я нарочно смотрел Лиде в глаза, но и тени притворства не было в кротком выражении ее лица.

– Где ж я могу найти Ивана Кузьмича? – спросил я.

– Он или у Пионовых, или у той магазинщицы. Они все и вооружают его; если он дольше еще у них останется, то совсем меня

бросит.

Я хотел было тотчас же ехать, но Лида меня остановила и просила остаток вечера провести у ней. Она боялась, что приедет Курдюмов, и он в самом деле приезжал, но его, по общему нашему распоряжению, не приняли.

ХІ

На другой день я чем свет написал к Леониду письмо и отправил его по городской почте. Я подробно ему описал все, что случилось с Лидией Николаевной, мое свидание с ней и поручение, которое она мне сделала. Ивана Кузьмича я поехал отыскивать часу в десятом. У Пионовых его не было; я дал их лакею полтинник, чтобы вызвать его на откровенность, и стал расспрашивать; он мне сказал, что Иван Кузьмич заезжал к ним накануне поутру и разговаривал очень долго с господами, запершись в кабинете, а потом уехал вместе с барином, который возвратился домой уже утром и очень пьяный, а барыня чем свет сегодня поехала к Марье Виссарионовне.

От Пионовых я отправился в магазин, о котором мне некогда говорил желтолицый поручик, и отыскал его очень скоро по вывеске, на которой было написано: «Магазин лучших французских цвѣтов, Анны Ивановой». Я вошел по грязной лестнице и отворил дверь прямо в большую комнату. В ней был шкаф и стол, за которым, впрочем, никто не работал.

Маленькая запачканная девочка мела пол; у открытого окна сидели две, как я полагаю, старшие мастерицы, из которых одна была худая и белокурая, а другая толстая, маленькая, черноволосая и с одутловатым лицом. При входе моем они переглянулись и засмеялись.

– Что вам надобно? – спросила белокурая.

– Здесь мой хороший знакомый Иван Кузьмич! Я желал бы его видеть, – отвечал я.

– А вы чьи такие? – спросила черноволосая.

– Я знакомый его, – повторил я.

– Да кто такие! Мы ихних знакомых очень хорошо знаем.

– Тебе что за беспокойство? Суешься не в свое дело, – перебила ее белокурая.

– Что мне за беспокойство, так спрашиваю.

– Где я могу видеть Ивана Кузьмича? – отнесся я к белокурой.

– Он там – вон в этой комнате... Матреша! – спросила она девочку. – Иван Кузьмич встал?

– Встал-с.

– Позвать, что ли, вам его?

– Нет, я сам пойду, – отвечал я и, боясь, что

Иван Кузьмич ко мне не выйдет, отворил дверь, на которую белокурая мне показывала, и вошел.

Он лежал на диване; перед ним стоял графин водки и морс. Комната была разгорожена ширмами с дверцами, которые при моем появлении захлопнулись. Увидев меня, Иван Кузьмич ужасно смешался, привстал, говорить ничего не мог и весь дрожал. Он был очень истощен и болезнью и, вероятно, недавнею попойкою. Я начал прямо:

– Я приехал к вам, Иван Кузьмич, от Лидии Николаевны, она просит вас возвратиться домой.

– Нет-с, благодарю вас покорно, не беспокойтесь, сделайте одолжение... я стар – мной играть... я не игрушка. Домой мне незачем ехать, я здесь живу... что ж такое, я всем скажу, что здесь живу, я квартиру здесь нанимаю, и кончено...

– Вы этим компрометируете Лидию Николаевну; неужели вас совесть не упрекает за нее?

Иван Кузьмич сделал нетерпеливый жест.

– Вы сердитесь на нее, и сами не знаете за

что, – продолжал я. – Мне все известно: письмо Курдюмова никак не может служить обвинением для Лидии Николаевны. Ни одна в мире женщина не поручится, чтобы какой-нибудь господин не решился ей написать подобного письма. Между вами или одно недоразумение, или вы хотите только сделать зло вашей жене, и за что же, наконец! Неужели за то, что она в продолжение пяти лет терпела все ваши недостатки, скрывала их от знакомых, от родных, а вы пустую записку обращаете ей в преступление.

– Я не за то-с, мне это что... я не за это.

– Так за что же?

– Так, ничего-с: мимо ехали, – отвечал Иван Кузьмич, выпил стакан водки и начал ходить взад и вперед по комнате.

– Коли так больна и не любит меня, так зачем же замуж выходила, шла бы в кого влюблена; а я ведь дурак... я ничего не понимаю, – говорил он как бы сам с собой.

– Она сначала вас уважала, но после вы сами ее вооружили против себя! – возразил я.

– Я вооружил, да-с, я же виноват, коли мужк жене, а она в сторону... может быть, по-ва-

шему, образованному, ничего, очень хорошо... а мы люди простые. Что ж такое? Я прямо скажу, я мужчина, за неволю сделаешь что-нибудь... У них рюмку водки выпьешь, так сейчас и пьяница; ну, пьяница, так пьяница, будь по-ихнему. Теперь меня всего обобрали... я нищий стал... у меня тут тридцать тысяч серебром ухнуло, – ну и виноват, значит! Мы ведь дураки, ничего не понимаем, учились на медные деньги, в университетах не были.

– Не совестно ли вам, Иван Кузьмич, говорить это? Не вы ли сами предложили как доказательство любви вашей уничтожить этот вексель!

– Я не корю. Дай им бог счастья, а мне прожить на них нечего, я все прожил.

Видя, что Иван Кузьмич был так настроен против Лидии Николаевны, что невозможно было ни оправдать ее пред ним, ни возбудить в нем чувство сострадания к ней, я решился по крайней мере поугатать его и намекнул ему, что у ней есть родные: мать и брат, которые не допустят его бесславить несчастную жертву, но и то не подействовало. Он сделал

презрительную гримасу.

– Ничего я не боюсь; плевать я на всех хочу, что они мне сделают?

Тем мое свидание и кончилось.

Я уехал.

«Нет, Лида не должна жить с этим человеком, он совсем потерялся, – подумал я. – Это еще и лучше, что он сам ее оставил. Пусть она живет с матерью: расскажу все Леониду, и мы вместе как-нибудь это устроим». Больше всех я ожидал сопротивления от самой Лиды: вряд ли она на это решится.

Я заехал к ней, чтобы передать ей малоуспешность своей поездки и сообщить новое мое предположение насчет дальнейшей ее участи, но не застал ее дома: она была у матери, которая присылала за ней. Что-то там происходит? От Леонида не было никакого известия. Возвратившись домой, я целое утро провел в раздумье, ездил потом к Курдюмову, чтобы растолковать, какое зло принес он любимой им женщине, и прямо просить его уехать из Москвы, заезжал к Надине растолковать ее ошибку, но обоих не застал дома, или меня не приняли, а между тем судьба го-

говорила новый удар бедной Лиде.

Поздно вечером, когда уж я улегся в постель, вдруг вошел ко мне Леонид во фраке и в белых перчатках.

– Откуда это? – спросил я его.

– В вокзале был и приехал к вам ночевать.

– Очень рад.

– Вы меня положите в кабинет.

– Отчего же не в спальне – со мной?

– Так, я завтра рано уеду.

Я предложил было ему ужинать, но он отказался и просил только дать ему вина.

– Мне хочется сегодня хорошенько выспаться; от какого вина лучше спишь?

– От всякого крепкого: хересу, портвейну.

– Дайте, какое у вас есть.

Я велел подать ему хересу, он выпил целый стакан, чего с ним прежде никогда не бывало, поцеловал меня, ушел в кабинет, заперся там и тотчас же погасил огонь.

Вообще он был как-то странен и чрезвычайно грустен. Об Лидии Николаевне не сказал ни слова, как будто бы не получал моего письма, а я не успел и не решился заговорить об ней. Мне не спалось, из кабинета слышал-

ся легкий шум, я встал потихоньку и заглянул в замочную скважину. Ночь была лунная. Леонид сидел у стола и что-то такое, кажется, писал впотьмах карандашом.

XII

Понять не могу, что такое делается: Леонид, кажется, всю ночь не спал. Я сам заснул почти на утре, но когда проснулся, его уж не было у меня: в шесть часов утра, как сказал мне мой человек, за ним заезжал молодой человек в карете, в которой они вместе и уехали. Тяжелое предчувствие сдавило мне сердце. Я решился, не теряя минуты, ехать к Леониду в Москву, ожидая или найти его дома, или узнать по крайней мере там, куда и зачем он мог уехать. Проезжая Мясницкую, я услышал, что меня кто-то зовет по имени; я обернулся: это был человек Ваньковских, который кричал мне во все горло и махал фуражкой. Я остановился. Он подбежал ко мне.

– Что такое? – спросил я.

– К вам, сударь, бежал; у вас несчастье произошло: Леонид Николаич очень нездоровы.

– Как, чем нездоров? – спросил я, сажая его к себе на пролетки и велев извозчику ехать как можно скорее.

– Сами не можем знать хорошенько; ноче-

вать они дома не изволили, а сегодня на утре привезли в беспамятстве, все в крови; надобно полагать так, что из пистолета, видно, ранены.

«Только этого недоставало», – подумал я и очень хорошо все понял. Вчера он получил мое письмо о Лиде, а сегодня у него была, верно, дуэль с Курдюмовым. И как мне, тупоумному, было не догадаться еще вчера, что он замышляет что-то недоброе. Остановить его я имел тысячу средств: я бы его не пустил, уговорил, наконец, помирил бы их.

– Куда он ранен и опасно ли? – спросил я человека.

– Бог их, батюшка, знает; слышал, что кровь-то больна одолевает, доктор при них, не знаем, что будет. Они, как немного почувствовались, сейчас приказали, чтоб за вами шли, я и побежал. Этакое на нас божеское посещение – барин-то какой! Этакого, кажись, и не нажать другого. Ну, как что случится, сохрани бог, старая барыня не снесет этого: кричит теперь как полоумная на весь дом.

Приехав, я встретил в зале молодого человека, товарища Леонида – некоего Гарновско-

го, которого видел у него несколько раз и которого, как я заметил, он держал в полном у себя подчинении. Я догадался, что это был секундонт.

– Жив ли? – спросил я его.

– Жив еще-с, – отвечал он.

– Не стыдно ли было вам участвовать в подобном деле, не предупредив ни родных, ни меня, – сказал я ему.

– Что ж мне было делать, он взял с меня клятву; в таких случаях нельзя отказываться, – отвечал он со слезами на глазах.

– Очень можно. Это была не дуэль, а подлое убийство. Леонид во всю жизнь пистолета не брал в руки, вы это знали, – так друзья не делают.

Молодой человек заплакал.

Я прошел в кабинет. Леонид лежал на своей кушетке вверх лицом, уже бледный, как мертвец, но в памяти. Увидев меня, он улыбнулся.

– Здравствуйте! Я вас давно жду, – сказал он, протягивая мне руку.

Я взял и незаметно пощупал пульс, который был неровен, но довольно еще силен. У

изголовья стоял растерявшийся полковой медик, которого пригласили из ближайших казарм. Я спросил его потихоньку о состоянии больного; он отвечал, что рана в верхней части груди, пуля вышла, но кровотечение необыкновенно сильно, и вряд ли не повреждена сонная артерия. Я просил его съездить к университетским врачам, чтобы составить консилиум. Из дальних комнат слышались стоны и рыдания Марьи Виссарионовны. Ее, по распоряжению врача, не пускали к сыну.

– Сядьте около меня, – сказал Леонид, когда мы остались одни. Я сел.

– Я скрыл от вас мою проделку, – начал он слабым голосом, – вы бы мне помешали... а мне очень хотелось проучить этого негодяя... Не думал, что так кончится серьезно...

Я просил его не говорить и успокоиться.

– Ничего... часом раньше... часом позже... все равно... Не послали ли Лиде сказать; я этого не хочу... не сказывайте ей дольше... как можно дольше... Вы не оставьте ее... я на вас больше всех надеюсь... Мать тоже не оставьте... ой, зачем это она так громко рыдает, мне тошно и без того.

Я не в состоянии был владеть собой и заплакал.

– И вы туда же! Стыдно быть таким малодушным, – продолжал Леонид. – Теперь мать будет за меня проклинать Лиду; вразумите ее и растолкуйте, что та ни в чем не виновата. Она вчера, говорят, так ее бранила, что ту полумертвую увезли домой. Там, в моей шкапулке, найдете вы записку, в которой я написал, чтобы Лиде отдали всю следующую мне часть из имения; настояйте, чтобы это было сделано, а то она, пожалуй, без куска хлеба останется. Ой! Что-то хуже, слаб очень становлюсь... попросите ко мне мать.

Я пошел к Марье Виссарионовне; она лежала на диване, металась, рвала на себе волосы, платье; глаза у ней бегали, как у сумасшедшей, в лице были судороги. Около нее сидела Пионова, тоже вся в слезах.

– Леонид Николаич вас просит к себе, – сказал я.

– Что он – умер?.. умер?.. – спросила Марья Виссарионовна, вскочив.

– Напротив, им лучше, они желают только вас видеть.

Она быстро пошла, Пионова последовала за ней.

– Позвольте и мне; мне нельзя ее оставить в таком положении, – отнеслась она ко мне.

Я ей ничего не отвечал. Мы все вместе вошли в кабинет. Марья Виссарионовна бросилась было к сыну на шею, но он ее тихо отвел.

– Нет, тут кровь, замараются, – сказал он.

– Кровь!.. Да, тут кровь, – проговорила она безумным голосам и, упав к нему на ноги, начала их целовать.

На лице Леонида изобразилась тоска.

– Марья Виссарионовна! Вы их беспокоите, – сказал я, подходя к ней.

– *Chere amie!*[32] Да вы сядьте, – произнесла Пионова.

– Да... да... я ничего... я сяду, – отвечала она и села.

Я и Пионова стали около нее; Леонид закрыл глаза. Прошло около четверти часа убийственного молчания, Марья Виссарионовна рыдала потихоньку.

Вдруг... во всю жизнь мою не забуду я этой сцены: умирающий открыл глаза, двинулся всем корпусом, сел и начал пристально гля-

деть на мать. Выражение лица его было какое-то торжественно-спокойное.

– Не плачьте, а тростите меня: я много против вас виноват, – начал он, – моею смертью вас бог наказывает за Лиду... вы погубили ее замужеством... За что?.. Это нехорошо. Родители должны быть равны к детям.

Марья Виссарионовна упала на руки Пионовой; в лице Леонида промелькнула как бы улыбка.

– Вы женщина умная, добрая, благородная; отец, умирая, просил вас об одном: не предаваться дружбе и любить всех детей одинаково. Он хорошо знал ваши недостатки; вы ни того, ни другого не исполнили.

Марья Виссарионовна начала сильнее рыдать.

– Загладьте хоть теперь, – начал опять Леонид, голос у него прерывался, – устройте Лиду... с мужем ей нельзя жить, он ее замучит... отдайте ей все мое состояние, я этого непременно хочу... А вы тоже оставьте ее в покое, – отнесся он к Пионовой, – будет вам ее преследовать... Она вам ничего не сделала... Матери тоже женихов не сватайте; ей поздно уж вы-

ходить замуж.

Пионова обратила к нему умоляющий взор; Леонид грустно покачал головой.

– Я все знаю, – продолжал он. – Как вам покажется, – обратился он ко мне, – Лизавета Николаевна сватала матери своего родного брата, мальчишку двадцати двух лет, и уверяла, что он влюблен в нее, в пятидесятилетнюю женщину; влюблен! Какое дружеское ослепление!

С Марьей Виссарионовной сделался настоящий обморок, Пионова тоже опустилась в кресла. Леонид замолчал, лег и обернулся к стене.

– Пора мне и с собой расчитаться... Священника! – проговорил он глухим голосом.

Я позвал горничных женщин и с помощью их вынес бесчувственную Марью Виссарионовну; Пионову тоже вывели в двои руки. Пришел священник, Леонид очень долго исповедовался, причастился и ни слова уже потом не говорил. Приехали медики, но было бесполезно: он умер.

Печальные хлопоты о похоронах я принял на себя и пригласил в них участвовать Гар-

новского, который все сидел в зале и обливался горькими слезами. Он мне рассказал подробности дуэли: накануне приехал к нему Леонид и повез его с собой в вокзал; когда приехали, то Леонид все кого-то искал. Встретившись с Курдюмовым, он остановил того, и они вместе ушли в дальние комнаты. Возвратившись, Леонид отвел Гарновского в сторону и, предварительно обязав его клятвою не говорить того, что он ему откроет, сказал, что у него дуэль, и просил его быть секундантом; он согласился, и на другой день Леонид назначил ему заехать за ним ко мне в шесть часов утра. Когда приехали к назначенному месту, Курдюмов уже был там. Он или боялся, или не желал дуэли: с ним даже не было секунданта; он несколько раз просил у Леонида прощения, но тот отвечал, что он обижен не лично и потому простить не может. Когда противники были поставлены, то Курдюмов хотел выстрелить на воздух, но Леонид, заметив это, требовал, чтобы он стрелял как следует, а в противном случае обещал продолжать дуэль целый день Курдюмов повиновался, раздался выстрел, Леонид пошатнулся, сам

тоже выстрелил, но на воздух, и упал. Увидев, что он ранен, Курдюмов бросился к нему, высасывал у него пулю, перевязывал рану и беспрестанно спрашивал, что он чувствует? Когда бесчувственного Леонида повезли домой, он просил позволения проводить его и всю дорогу рыдал, как ребенок, и когда того привезли, он не вышел из экипажа и велел себя прямо везти к коменданту.

«Да будет святая воля бога», – подумал я. Как знать, что бы принесла Леониду жизнь, особенно если взять в расчет его прекрасную, но все-таки странную натуру.

Я очень боялся за Лиду; мне казалось, что ниспосланное ей испытание свыше сил ее. Приказание Леонида – скрыть от нее случившееся – не исполнили. Кто-то из людей отправился к ней в то же утро и все рассказал до малейших подробностей; она приехала, но Леонид лежал уже на столе. Тут только я увидел, какими огромными нравственными силами обладала эта, по-видимому слабая, женщина. Как должна была огорчить ее смерть брата, которого она страстно любила и который умер за нее, об этом и говорить нечего;

но она не рыдала, не рвалась, как Марья Виссарионовна, а тихо и спокойно подошла и поцеловала усопшего; потом пошла было к матери, но скоро возвратилась: та с ней не хотела говорить.

В продолжение трех дней и трех ночей она не отходила от тела, провожала его в церковь, выстояла всю службу, хотя, конечно, видела и понимала, что была предметом неприличного любопытства. Одни называли ее по имени, другие указывали на нее, третьи рассказывали историю дуэли, но никто ее не пожалел, никто в ней не поучаствовал; зато Марья Виссарионовна, как говорится, надсадила всех. Ее внесли рыдающую на креслах, за ней шла, тоже рыдая, Пионова, а при конце службы с ними обеими сделалось дурно. Я и Лида подошли первые и простились с покойником. Иван Кузьмич тоже явился на похороны истерзанный и больной; за панихидой он разрыдался, подошел потом к Марье Виссарионовне, утешал ее, а жене даже не поклонился и как будто бы не заметил ее. Он, как мне сказывали, отобрал от нее все вещи, экипажи, людей, и Лида осталась с одной своей горнич-

ной Аннушкой.

Курдюмов содержится на гауптвахте и очень, говорят, тоскует. Все это передавал мне Гарновский, который неизменно ласкается ко мне и каждый почти день бывает у меня. Он, кажется, очень боится, чтобы ему не досталось чего-нибудь за дуэль.

XIII

Иван Кузьмич доконал себя. Вскоре после смерти Леонида он тяжело заболел и сошелся с женою. Лида все ему простила и в продолжение трех месяцев была его сиделкой, в полном значении этого слова. Старик доктор не ошибся: водяная действовала быстро. Грустно и отрадно было его видеть в этот предсмертный период жизни: разум его прояснел, самосознание и чувство совести к нему возвратились; он оценил, наконец, достоинство Лиды и привязался к ней, как маленький ребенок, никуда ее не отпускал от себя, целовал у нее беспрестанно руки и все просил прощения за прошедшую жизнь. Пионовых решительно не хотел видеть, они приезжали несколько раз, и как Лида ни просила, чтобы принять их, хоть для приличия, он не соглашался; родных своих также не велел пускать, да они и сами не приезжали, за исключением Надины, которая была один раз и с которой он ни слова не сказал, зато Анна Ивановна ездила каждый день, но ее, это уж по приказанию Лиды, тоже не пускали. Впро-

чем, она раз сказала об ее посещении Ивану Кузьмичу, он вдруг закричал: «Вон ее, вон ее!» Говорят, он дал ей значительный вексель, который она и подала ко взысканию. Умер он тихо. Лидия Николаевна осталась решительно без всяких средств к жизни и даже во время его болезни она жила только тем, что продавала кой-какие свои брильянтовые вещи. Марья Виссарионовна не только не обеспечила, по завещанию Леонида, дочери, несмотря на все мои настояния, но даже не принимала ее и называла ее при всех убийцею сына. От меня Лида тщательно скрывала свою бедность, но я знал, что она начала жить только своей работой, и потому подсылал к ней различных торговков и закупал все по возможно дорогой цене.

Однажды, это было месяцев шесть спустя после смерти Ивана Кузьмича, я познакомился с одним довольно богатым домом. Меня пригласили, между прочим, бывать по субботам вечером; в одну из них я поехал и когда вошел в гостиную, там сидело небольшое общество: старик серьезной наружности; муж хозяйки – огромного роста блондин; дама-ста-

руха в очках; дама очень молоденькая и, наконец, сама хозяйка. Между всеми этими лицами шел довольно одушевленный разговор. Я сел и начал прислушиваться.

– Мне очень жаль, очень жаль Курдюмова, – говорил старик, – человек он умный, образованный, хорошего круга, влюбился в эту интриганку, выдержал за нее дуэль и, наконец, погубил себя теперь таким образом.

– Ее мать с малолетства боялась, с малолетства видела в ней дурные наклонности; эта женщина, как я слышу об ней, совершенная Лафарж[33], – говорила отрывисто старуха в очках.

– Я без грусти не могу вообразить ее брата. Говорят, еще очень молоденький мальчик, и умереть в такие лета, это ужасно! Как должна ее самое мучить совесть? Я удивляюсь, как она до сих пор еще жива? – вмешалась молоденькая дама и покраснела от неуверенности, не сказала ли чего-нибудь глупого.

– О! Ей ничего: подобным женщинам ничего не бывает. Скажите лучше, как мать жива! Вот этой несчастной жертве я удивляюсь, – возразила старуха.

– Очень хорошо тут дурачили эту старую деву, сестру мужа, – сказал хозяин, – они ее уверяли, что Курдюмов влюблен в нее. Я тогда жил в Сокольниках и очень хорошо помню, что о ней кто-то сказал: «Это громовой отвод, или новое средство скрывать любовь».

Старик пожал плечами.

– Одно, что может ее извинить, что она вышла за человека, которого не любила. Будь она к нему привязана, так на многое бы не решилась, – заметила хозяйка и взглянула с нежностью на мужа, который отвечал ей улыбкою.

– Ничто не может служить ей оправданием, – начал старик диктаторским голосом. – Она была дурная дочь, как говорила Алена Александровна. Она вышла замуж точно за дрянного человека, я его знаю, он у меня служил под начальством, но это ее нисколько не оправдывает, а, напротив, еще хуже рекомендует ее сердцу. Для чего она это делала? Или по расчету, или по нестерпимому желанию выйти за кого-нибудь, и, наконец, уж если вышла, так должна была исправить недостатки мужа, а не доводить его до того, что он с кругу

спился и помер оттого; потом она завлекла молодого человека, отторгнула его совершенно от общества: последнее время его нигде не было видно, и, чтобы скрыть свою интригу, сделала из родной сестры своего мужа, как говорит Алексей Иваныч, громовой отвод, или средство скрывать любовь. Поведением своим была причиной смерти брата и в заключение всего вошла в связь с каким-то еще господином, который у ней бывает каждодневно, чтоб не сказать больше. Неужели после всего этого ее можно оправдать?

В продолжение этих слов старуха кивала утвердительно головой, да и прочие, кажется, все безусловно соглашались. Я не вытерпел.

– Историю об этой даме рассказывают совсем не так, как она была, – начал я в тоне же старика, вставая, – она точно вышла не по любви, но по усиленным настояниям матери. Муж ее несчастному пороку пьянства был предан еще холостой, остановить его не было никакой возможности. Курдюмов в отношении ее был только навязчивый искатель. Сестру мужа ей и в голову не приходило делать умышленно громовым отводом, но та са-

ма влюбилась в Курдюмова. С господином, который бывает у ней ежедневно, существуют только самые святые, чистые, дружественные отношения, это я могу утвердительно сказать, потому что господин этот я сам.

Все сконфузились, старик нахмурился, я скоро уехал.

Надобно сказать, что у меня с Лидой в последнее время были какие-то неопределенные отношения. Что я любил ее, что я желал сделаться ее мужем, в этом, конечно, нечего было и сомневаться, но не решался еще, будучи, с одной стороны, не уверен, любит ли она меня, а с другой – боясь оскорбить в ней чувство горести о потере брата и мужа. Ездил к ней я действительно очень часто, она была и рада моим посещениям и отчасти стеснялась ими. Последний случай окончательно утвердил меня в моем намерении. Лида одна, оставлена всеми, без денег, порицаема общественным мнением: медлить нечего, что будет – то и будет, подумал я и написал ей письмо, в котором признался ей в любви, откровенно высказал ей, каким образом толкуют наши отношения, и молил ее согласиться

быть моей женой; в противном случае мы должны расстаться, чего, уверен я, и она не желает.

Лида не отвечала мне целые два дни; нетерпение меня мучило. Я сам было хотел ехать к ней, но мне принесли от нее письмо. Передаю его в подлиннике.

«Прости меня, что я так долго не отвечала на твое письмо, мой добрый и единственный друг, позволь мне назвать тебя этим именем хоть за дружбу к тебе моего бесценного Леонида. Ты пишешь, что любишь меня давно. Я давно это знаю, но у меня не достало присутствия духа сказать тебе, просить тебя, чтобы ты не любил меня; видишь, какая я кокетка и какая коварная! Ты возмутился за обвинения, которыми карают меня в обществе, но как ты ошибался, писавши эти строки; это общество гораздо лучше меня знает, чем ты: разве я так любила мужа, как должно? Разве я, видевши безрассудство Надины, предостерегла ее? А брат мой, бедный брат! Разве не за меня он помер и разве Курдюмов... Я все тебя, мой друг, обманывала об нем... Я любила его... Я принадлежала ему всем сердцем, всей душой

моей... Я для него забыла бога, совесть – видишь, какая я падшая женщина, и только твое строгое присутствие и тень брата, ставшая между нами, дала мне и теперь силу отторгнуться от этого человека. Быть женой твоей я не хочу и не могу. Я не достойна того! Мать меня простила и позволила быть при ней. Она больна. Я буду за ней ходить, и приведи бог хоть этим искупить мои проступки».

Лида сама произнесла над собой приговор; но в самом деле: виновата ли она?

Примечания

Впервые повесть напечатана в «Современнике» за 1855 год (т. XLIX, No 2, февраль).

В издании Стелловского повесть датирована 3 января 1855 года. Эта повесть связана с первым, запрещенным цензурой романом Писемского «Боярщина» (первоначальное его заглавие – «Виновата ли она?»). Работая над предназначенной для «Современника» повестью, Писемский использовал некоторые материалы своего раннего, тогда еще не опубликованного романа. Так, фамилия одного из персонажей первой редакции «Боярщины» – Ваньковский – была присвоена отцу героини повести «Виновата ли она?». Кроме того, опубликованную в «Современнике» повесть сближает с первым романом Писемского и то, что в ней, как и в романе, основной причиной несчастий героини является разорение родителей. Эти факты дают основание предполагать, что Писемский начал работу над повестью вскоре после того, как узнал, что роман «Боярщина» («Виновата ли она?») запрещен цензурой. В декабре 1853 года в письме к

издателям «Современника» И.И.Панаеву и Н.А.Некрасову он упомянул о повести, как о законченной: «Виновата ли она?» я при неприятностях и хлопотах не успел поправить, как мне хочется, но в конце будущего месяца или в начале февраля, – одним словом к мартовской книжке непременно приготовлю». [34]

Исправления, внесенные Писемским в текст повести при включении ее в издание Стелловского, носили преимущественно стилистический характер, однако некоторые из них а какой-то мере изменили характеристики основных персонажей произведения. В шестой главе после фразы: «Большая часть этих гостей обращалась с хозяином без всякой церемонии и даже называла его разными родственными именами: дама с бородавками именовала его племянником, худоцавая девица – кузенком, нарумяненная дама или девица – кумом, чиновник – сватом, господин, осматривающий ценные вещи, – братом», – в тексте «Современника» было: «В Иване Кузьмиче, может быть, это хорошая черта, что он не чуждается родных, подумал я, но во вся-

ком случае, ради Лидии Николаевны трудно будет с ними сблизиться, если бы они были только люди небогатые и простые, но они модничают и по своему стараются выказать некоторый тон». В тексте Стелловского это место отсутствует.

Конец XI главы после слов: «Ночь была лунная» – в тексте «Современника» читался иначе, чем в тексте Стелловского: «Леонид стоял на коленях и молился. Я с полчаса наблюдал его, он все молился, что меня удивило. Я знал, что он богомолен, но чтобы молиться ночью, скрытно от меня – этого никогда не бывало!»

Для издания Стелловского были значительно переработаны заключительные строки повести. После слов: «...разве не за меня он помер» – в «Современнике» было:

«...и разве я не любила Курдюмова и не люблю до сих пор, и, может быть, в последнее время только твое строгое присутствие, мой добрый друг, спасло меня, что я не пала совершенно и могу еще, что бы про меня ни говорили, просить тебя не презирать меня вместе с другими, и только тень брага, ставшая меж-

ду нами, дала мне силы отторгнуться от этого человека, припомни, как много и как долго обманывала я всех вас, а ты еще пишешь, что я не виновата. Быть женой твоей я не могу и не стою, моя добрая мать теперь простила меня и позволила быть при ней, она больна, я буду за ней ходить, и приведи бог хоть этим искупить мои проступки...»

Дальше мне говорить, полагаю, нечего; рассказ мой, насколько было в нем задачи, кончен. Лида сама над собой произнесла суд и обвинение, но в заключение я все-таки хочу обратиться к тебе, мой беспристрастный читатель, к тебе, которому искренно, не утаив ничего рассказал эту простую повесть, реши и скажи, положив руку на сердце: виновата ли она?»

В настоящем издании повесть печатается по тексту: «Сочинения А.Ф.Писемского», издание Ф.Стелловского, СПб, 1861 г., с исправлениями опечаток по предшествующим прижизненным публикациям.

Примечания

Московского университета (Прим. автора.).

[^^^]

2

Добрый вечер (франц.).

[^^^]

3

Лидия, где вы? (франц.).

[^^^]

Здесь, мама (франц.).

[^^^]

Идите к нам (франц.).

[^^^]

6

Дорогой Леонид, пожалуйста свою мать
(франц.).

[^^^]

7

Добрый вечер, дорогой Леонид! (франц.).

[^^^]

8

Допелькюмель – род тминной водки.

[^^^]

золовкой (франц.).

[^^^]

10

Здравствуйте, мадмуазель Надина (франц.).

[^^^]

Мадам дома? (франц.).

[^^^]

12

Она сию минуту придет (франц.).

[^^^]

Какая сегодня прекрасная погода (франц.).

[^^^]

Да (франц.).

[^^^]

Нет (франц.).

[^^^]

Что же делать? Мне надо было написать письма в деревню... (франц.).

[^^^]

А вы, мадам, прочитали то маленькое произведение, которое я вам рекомендовал? (франц.).

[^^^]

Нет еще (франц.).

[^^^]

Жаль, потому что оно полно ума и чувства
(франц.).

[^^^]

Я ем, мадмуазель (франц.).

[^^^]

Сию минуту (франц.).

[^^^]

мой бог! (франц.).

[^^^]

Тильбюри – одноконный экипаж для двух пассажиров (англ.).

[^^^]

Вы гуляли? (франц.).

[^^^]

«Лобзай меня, твои лобзанья...» – цитата из стих. А.С.Пушкина «В крови горит огонь желанья».

[^^^]

Да, у него большой музыкальный талант
(франц.).

[^^^]

дорогая (франц.).

[^^^]

мой ангел (франц.).

[^^^]

Комераж – сплетня (франц.).

[^^^]

«Северная пчела» – газета, с 1825 года издававшаяся реакционными писателями Ф.Булгариным и Н.Гречем.

[^^^]

за и против (лат.).

[^^^]

Дорогой друг! (франц.).

[^^^]

Лафарж – француженка, обвиненная в отравлении своего мужа и осужденная на пожизненную каторгу.

[^^^]

А.Ф.Писемский. Письма, М. – Л., 1936, стр. 61.

[^^^]